

Основан
в 1967 году
Выходит
6 раз в год
Издательство
"Наука"
Москва

Научно-популярный журнал
Института русского языка
Академии наук СССР

Русская 5 речь

1988 СЕНТЯБРЬ · ОКТЯБРЬ

В НОМЕРЕ:

- 3 *Л. И. Скворцов.* Культура языка и экология слова. Ц

ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- 10 *В. И. Порудоминский.* Гоголь и Даль (Из творческих общений)
17 *В. Э. Вацуро.* Из записок филолога. История одной ошибки

Штрихи к портрету писателя

- 24 *Т. А. Иванова.* Зефироты В. Ф. Одоевского и Л. Н. Толстого

Полемические заметки

Вопросы к «Горе от ума»:

- 29 *С. А. Рейсер.* Что говорят рукописи
34 *С. А. Фомичев.* В порядке уточнения

- 39 *А. А. Буров.* «Дойти до самой сути...» (Номинативные предложения в поэзии М. Цветаевой)

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

- 45 Фельетоны М. А. Булгакова

КУЛЬТУРА РЕЧИ

К 70-летию Декрета о введении новой орфографии

- 50 *В. Ф. Иванова, Г. Г. Тимофеева.* Октябрь и реформа русского правописания
55 *Р. И. Кочубей.* Разногласица русского письма XIX века

Наши публикации

- 61 *Мих. Осоргин.* Слова и выражения
65 *Тэффи.* О русском языке

- 69 *В. В. Колесов*. Литературное произношение в театре (Советы Л. В. Щербы)
 76 *Ф. Л. Агеевко*. Об ударении в названиях московских улиц
 81 *В. И. Аннушкин*. Зачем пужна риторика?
 87 Из Нормативно-стилистического словаря русского языка

ЛЕКСИКОГРАФИЯ

- 89 *А. Ф. Журавлев*. Должен ли диалектолог быть этнографом?

СРЕДИ КНИГ

- 97 Словарь русского литературного словоупотребления
 СТРАНИЦЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ
 100 *С. Н. Азбелев*. Богатырь русской филологии (К 150-летию со дня рождения А. Н. Веселовского)

**РУССКИЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО
 МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ**

- 106 *Э. А. Григорян*. Без комплиментов...
 ИЗ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ И ПИСЬМЕННОСТИ
 112 *Е. М. Верецагин, В. П. Вомперский*. Тысячелетние истоки русской науки
 120 *С. В. Позиховская*. Острожский музей книги
 123 Из «Этнолингвистического словаря славянских древностей». Бабье лето

НА КАРТЕ РОДИНЫ

- 128 *Г. К. Валеев*. Откуда «пришли» Ильмены?

ПИСАТЕЛЬ И ФОЛЬКЛОР

- 132 *Н. И. Толстой*. «Покаяние земле» (Этнолингвистическая заметка)

ИЗ ИСТОРИИ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ

- За знакомой строкой*
 140 *А. Я. Опришко, Н. В. Котенко*. Наваринского дыма с пламенем...

ПОЧТА «РУССКОЙ РЕЧИ»

- 148 *В. А. Никонов* — Ответы на письма читателей
 151 Наброски к портрету читателя

-
- 146 КРОССВОРД

Обложка выполнена Е. Сапожниковой

© Издательство «Наука», Русская речь, 1988 г.

Культура языка и экология слова

Л. И. Скворцов,
доктор филологических наук

II *

Каждая нация во все времена формирует свой язык, по и язык, в свою очередь, духовно формирует нацию, отливая в горниле народной жизни национальное самосознание и самовыражение.

Нынешнее время перестройки – особое. Многим словам и понятиям возвращается их подлинный, первоначальный смысл, например, *демократия, партия и партийность, принципы, справедливость, честь* и др. Преодоление устоявшихся стереотипов происходит ныне и в жизни, и в языке. Кстати, даже в наиболее глухие времена «застойности» язык наш не мирился с навязанными ему штампами и бодрими призывами и довольно активно сопротивлялся этому, прямо называя вещи своими именами. Честность и смелость языка (а, значит, прежде всего народа-творца) проявились, в частности, в создании таких слов-символов, слов-оценок (где оценка переходит в клеймо), как *долгострой* и *долгостройка, штурмовщина, заорганизовать* и *заорганизованность, несуну* и *везуны, вецизм, подсебятничество, кабычегоневышлизм* и т. п.

Изменили свои значения слова *имитатор* и *имитация*, традиционно связанные с искусством подражания, точного воспроизведения или повторения чего-нибудь. Они получили особое, отрицательно-оценочное приращение смысла в связи с появлением в середине 80-х годов острого социального романа Сергея Есина «Имитатор» о жизни чиновного художника Семираева. Слово *имитатор* стало своеобразным символом застойности в области творческой деятельности, да и не только в ней. Слова *имитация, имитировать, имитатор* и *имитаторство* разоблачают ныне скрытых врагов происходящих в жизни нашей страны перемен. Так меткое и точное, «обновленное» делом слово активно участвует в перестройке.

* Статья I см. в № 4 с. г.

Откликаясь на насущные потребности жизни и мысли, словарный состав любого языка вместе с тем развивается и функционирует в соответствии со своими внутренними закономерностями и тенденциями. Вряд ли поэтому можно согласиться с мнением философа Л. Когана, высказанным в статье «...*Душа моя во мне. Об одном аспекте экологии культуры*» (Советская культура. 1986. 22 ноября). Закономерное и естественное выпадение из активного употребления тех или иных слов или целых лексических рядов (типа книжных *добросердие, добропорядочный, добронравие, благосклонность, благорасположение, благовоспитанность* и т. п.) он напрямую связывает с «повышением активности различных форм сленга, базарно-бизнесменских и „блатных“ неологизмов». Механический перенос в область языка, речевого общения закономерностей, скорее, биологического характера (идеи «пустующих ниш») приводит Л. Когана одновременно и к пессимистическому, и лингвистически необоснованному выводу:

«Искусственные „ниши“, образующиеся в результате преждевременного списания в расход ряда существенных слов-значений, заполняются нередко шлаком канцеляризованных, обездушенных, бюрократически-приказных речений, уничижающих человеческое достоинство (вроде многочисленных, далеко не всегда вызванных необходимостью трафаретных *запрещается*, императивных обращений к *посторонним*, призывов *освободить вагоны* и т. п.). Печать оказывания, выхолощивания, забвения исторической значимости и масштабности не миновала, к сожалению, и такого высокого понятия, как *гражданин*... Ныне это слово нередко оказывается на практике в ином, сниженном ряду, представляя как бы своего рода административно-подотчетную единицу. Его чаще всего можно услышать из уст милиционера, урезонивающего нарушителя порядка; в бытовом обращении *гражданин* и *гражданка* все чаще подменяются неуместными *мужчина* и *женщина*. Во многом поблекло, утратило в повседневном „обороте“ свою человеческую теплоту и слово *товарищ*... Огромным завоеванием нашей революции было придание этому слову невиданной прежде демократической широты, народности... Налет бездумно-привычного, расхожего обывательства затемняет первоначальный смысл этого понятия».

О превращении (в недавние застойные годы) в расхожие слова прежде высоких обращений *товарищ* и *гражданин* говорит писатель Е. Носов: «Слово *товарищ*, всегда означавшее наивысшее духовное единение, стало, напротив, знаком холодного отчуждения. Когда говорят: *товарищ такой-то*, то это стало означать, что человеком недовольны. Возвышенное ленинское *гражданин те-*

перь — это когда человек попался...» (Е. Носов. Что мы перестраиваем?» // Литературная газета. 1988. 20 апр.).

Известное семантическое «выветривание», наблюдаемое в словах-сращениях *гражданин* и *товарищ*, академик Н. Н. Моисеев связывает с потерей гражданского самосознания, с укреплением и развитием бюрократического антидемократизма. Он, в частности, пишет: «Замечу, что слово *гражданин* незаметно потеряло у нас свой изначальный смысл <...> Оно очень емкое, это слово. Но прежде всего оно предполагает глубочайшее уважение к отчизне <...>

Как-то постепенно это изначальное представление о гражданине, гражданственности измельчилось, девальвировалось, потерялась гордость звучания. И наконец слово *гражданин* совсем исчезло из нашего употребления. Более того, его смысл исказился, сделался чуть ли не оскорбительным <...> Но как могло случиться, что слово *гражданин* приобрело оскорбительный оттенок?

Я не раз задавал этот вопрос себе и другим и не раз слышал один и тот же ответ: массовые репрессии 30-х годов. Вот основная причина: при обращении с подследственными исключалось использование слова *товарищ*. Но я думаю, что корни этого явления значительно глубже. И не сводятся к какому-нибудь одному факту. Это и потеря интеллигенции — носителя национального да и просто человеческого, гражданского самосознания. И стремление пивелировать людей, их чувства и мысли, стремление превратить их в бессловесные винтики. Конечно, свою роль сыграли и репрессии. Одним словом, причин много. И все-таки главную причину я вижу в саморазвитии бюрократического антидемократизма» (Н. Н. Моисеев. Облик руководителя // Новый мир. 1988. № 4).

Так или иначе, в настоящее время разными авторами справедливо ставится вопрос о том, чтобы вернуть многим словам их истинный смысл и «первородство», а для этого надо решительно изменять, возрождать и восстанавливать морально-правственную обстановку, чистоту отношений, иначе говоря, приводить в необходимую гармонию, единство слов и дел. Одним из важнейших путей к достижению этой цели является гуманизация (и гуманитаризация) среднего и высшего образования в стране, о чем говорилось на февральском (1988 года) Пленуме ЦК КПСС по народному образованию. Эпоха научно-технического прогресса и общей перестройки в стране настоятельно требует качественных перемен в школьном обучении русскому языку. Приобщение к богатствам родной речи — важнейшее, решающее звено гуманитарного воспитания, основа социалистической цивилизованности и культуры.

Откликаясь на насущные потребности жизни и мысли, словарный состав любого языка вместе с тем развивается и функционирует в соответствии со своими внутренними закономерностями и тенденциями. Вряд ли поэтому можно согласиться с мнением философа Л. Когана, высказанным в статье «...*Душа моя во мне. Об одном аспекте экологии культуры*» (Советская культура. 1986. 22 ноября). Закономерное и естественное выпадение из активного употребления тех или иных слов или целых лексических рядов (типа книжных *добросердие, добропорядочный, добронравие, благосклонность, благорасположение, благовоспитанность* и т. п.) он напрямую связывает с «повышением активности различных форм сленга, базарно-бизнесенских и „блатных“ неологизмов». Механический перенос в область языка, речевого общения закономерностей, скорее, биологического характера (идеи «пустующих ниш») приводит Л. Когана одновременно и к пессимистическому, и лингвистически необоснованному выводу:

«Искусственные „ниши“, образующиеся в результате преждевременного списания в расход ряда существенных слов-значений, заполняются нередко шлаком канцеляризм, обездушенных, бюрократически-приказных речений, уничижающих человеческое достоинство (вроде многочисленных, далеко не всегда вызванных необходимостью трафаретных *запрещается*, императивных обращений к *посторонним*, призывов *освободить вагоны* и т. п.). Печать оказывания, выхолащивания, забвения исторической значимости и масштабности не миновала, к сожалению, и такого высокого понятия, как *гражданин*... Ныне это слово нередко оказывается на практике в ином, сниженном ряду, представляя как бы своего рода административно-подотчетную единицу. Его чаще всего можно услышать из уст милиционера, урезонивающего нарушителя порядка; в бытовом обращении *гражданин* и *гражданка* все чаще подменяются неуместными *мужчина* и *женщина*. Во многом поблекло, утратило в повседневном „обороте“ свою человеческую теплоту и слово *товарищ*... Огромным завоеванием нашей революции было придание этому слову невиданной прежде демократической широты, народности... Налет бездумно-привычного, расхожего обывательства затемняет первоначальный смысл этого понятия».

О превращении (в недавние застойные годы) в расхожие слова прежде высоких обращений *товарищ* и *гражданин* говорит писатель Е. Носов: «Слово *товарищ*, всегда означавшее высшее духовное единение, стало, напротив, знаком холодного отчуждения. Когда говорят: *товарищ такой-то*, то это стало означать, что человеком недовольны. Возвышенное ленинское *гражданин* те-

перь — это когда человек попался...» (Е. Носов. Что мы перестраиваем?» // Литературная газета. 1988. 20 апр.).

Известное семантическое «выветривание», наблюдаемое в словах-обращениях *гражданин* и *товарищ*, академик Н. Н. Моисеев связывает с потерей гражданского самосознания, с укреплением и развитием бюрократического антидемократизма. Он, в частности, пишет: «Замечу, что слово *гражданин* незаметно потеряло у нас свой изначальный смысл <...> Оно очень емкое, это слово. Но прежде всего оно предполагает глубочайшее уважение к отчизне <...>

Как-то постепенно это изначальное представление о гражданине, гражданственности измельчилось, девальвировалось, потерялась гордость звучания. И наконец слово *гражданин* совсем исчезло из нашего употребления. Более того, его смысл исказился, сделался чуть ли не оскорбительным <...> Но как могло случиться, что слово *гражданин* приобрело оскорбительный оттенок?

Я не раз задавал этот вопрос себе и другим и не раз слышал один и тот же ответ: массовые репрессии 30-х годов. Вот основная причина: при обращении с подследственными исключалось использование слова *товарищ*. Но я думаю, что корни этого явления значительно глубже. И не сводятся к какому-нибудь одному факту. Это и потеря интеллигенции — носителя национального да и просто человеческого, гражданского самосознания. И стремление пивелировать людей, их чувства и мысли, стремление превратить их в бессловесные винтики. Конечно, свою роль сыграли и репрессии. Одним словом, причин много. И все-таки главную причину я вижу в саморазвитии бюрократического антидемократизма» (Н. Н. Моисеев. Облик руководителя // Новый мир. 1988. № 4).

Так или иначе, в настоящее время разными авторами справедливо ставится вопрос о том, чтобы вернуть многим словам их истинный смысл и «первородство», а для этого надо решительно изменять, возрождать и восстанавливать морально-правственную обстановку, чистоту отношений, иначе говоря, приводить в необходимую гармонию, единство слов и дел. Одним из важнейших путей к достижению этой цели является гуманизация (и гуманитаризация) среднего и высшего образования в стране, о чем говорилось на февральском (1988 года) Пленуме ЦК КПСС по народному образованию. Эпоха научно-технического прогресса и общей перестройки в стране настоятельно требует качественных перемен в школьном обучении русскому языку. Приобщение к богатствам родной речи — важнейшее, решающее звено гуманитарного воспитания, основа социалистической цивилизованности и культуры.

Современный русский литературный язык в своем развитии и речевом бытовании и обогащается и обедняется одновременно. Обиходно-разговорная речь засоряется и огрубляется, стилистически обедняется, семантически выветривается. Каковы же пути регулирования литературного языка? Ответ на этот вопрос, как нам представляется, должен быть следующим. Главные источники и регуляторы творческой деятельности и жизни языка — это художественная литература, а также школа и лингвистическая наука. Художественно обработанная речь, с одной стороны, и строго осмысленная, стилистически отшлифованная, семантически упорядоченная речевая деятельность — с другой, очищают наш язык от наносного мусора и вместе с тем обогащают его.

Цель лингвистического воспитания — мыслящий человек-творец. Для него литературные нормы — не узы и не сужающие обзор шоры, а основа и база творческого выражения содержания, новой мысли, свежей идеи. Возражая против школьной зубрежки формальных грамматических правил родного языка в обществе будущего (по Е. Дюрингу), Ф. Энгельс писал: «Но ведь „материя и форма родного языка“ становятся понятными лишь тогда, когда прослеживается его возникновение и постепенное развитие, а это невозможно, если оставлять без внимания, во-первых, его собственные омертвевшие формы и, во-вторых, родственные живые и мертвые языки» (Энгельс Ф. Анти-Дюринг. М., 1953. С. 303). Историчность и, сказали бы мы теперь, экологичность в подходе к изучению родного языка в школе выступают в этих рассуждениях убедительно и вполне актуально и для наших дней.

Средняя школа должна развивать речь учащихся, воспитывать и закреплять основы речевого, ораторского мастерства. Искусство живого слова, основанное на лингвистическом и стилистическом знании, обеспечивает движение к непрерывному совершенствованию речевого выражения, к подлинной и творческой культуре общения, взаимному духовному и нравственному обогащению людей.

Необходимо поднять качество языка и стиля школьных и вузовских учебников, а в особенности книг для детей. Долг языковедов — позаботиться о создании справочников и пособий, расширяющих школьные знания о родном языке «за пределами школы», в целях самообразования по типу книг чехословацких языковедов «Cestina za školoj» («Чешский язык за школой», после ее окончания). Педагогу и ученому, журналисту и писателю, любому сознательному члену нашего общества должна быть близка и дорога забота о поддержании здоровой, нормально развивающейся «языковой среды», о гармоничном «языковом существова-

нии», стилистическом, гуманитарном обогащении многонационального социалистического государства.

Экологический подход к вопросам языка и культуры речи связан с живым для сознания «образом места», «среды обитания», любовным к ним отношением. Этот подход соединяет в себе необходимую профессиональную компетентность (научные лингвистические знания) и, так сказать, «сентиментальность», в хорошем смысле слова (любовь к языку, бережное к нему отношение). Обостренное чувство ответственности за прошлое и настоящее родного языка составляет суть экологического аспекта культуры речи на современном этапе.

Лингвоэкологическое отношение к «месту обитания» может иметь и собственно историко-топонимический смысл и оттенок. Поэт Б. Окуджава в стихотворении «Гомон площади Петровской...» (Юность. 1986. № 1) пишет так:

А Тверская, а Тверская,
сея праздник и тоску,
от себя не отпуская,
проводжала сквозь Москву.

Не выходят из сознания:
(хоть иные времена)
эти древние названья,
словно дедов имена...

Знаменательно, что почти одновременно в различных изданиях появились писательские и журналистские публикации на одну и ту же тему — о нежелательности переименований старинных географических названий (Залыгин С. П. Зачем нам отреченья? // Поворот/Сб. статей. М., 1987; Дудочкин П. Имя разве не памятник? // Наука и жизнь. 1987. № 4; Спиридонова С. Имя собственное // Правда. 1987. 28 дек. и др.). Писатели и журналисты, в сущности, одинаково ставят вопрос: старинные названия — это тот же памятник культуры, национальное народное достояние, историческая память народа. Отрекаясь бездумно от названия, имени, мы невольно нарушаем или даже разрушаем исторические связи. А без истории, то есть живых традиций, их усвоения и приумножения, нет и самой культуры, ибо возникает она не на чистом (пустом) месте и копится веками. «Это вполне в наших силах, — полагает С. П. Залыгин, — в наших возможностях — охранять культуру в ее настоящем, в ее прошлом. Охранять повсюду, и в именах — тоже».

Конечно, в этом деле не должно быть пережестов, поскольку не все подлежит «обратному переименованию». Нельзя же, например, всерьез требовать восстановления всей топонимики горо-

да Ленинграда, существовавшей до Октября 1917 года, включая 17 *Кабачких* и 9 *Архиерейских* улиц! (см. об этом беседу И. Павлихина в газете «Советская культура». 1987. 29 авг.). И в то же время так приятны и радостны обретения незаслуженно оставленных названий! Ныне возвращены Москве *Остоженка*, *Хамовнический вал*, *Красные ворота*... Придет ли очередь *Покровке*, *Маросейке*, *Зубовской площади* и другим таким же утратам, живущим в памяти народа? Хочется верить, что так именно и будет.

Целью лингвистической экологии является и сам литературный язык, и человек, говорящий и пишущий на нем, то есть забота о его воспитании. В связи с этим встают некоторые и собственно языковедческие, и научно-организационные вопросы, часть из которых живо и заинтересованно обсуждается широкой общественностью. Возобновляется, в частности, время от времени идея создания специального общества (или комитета, комиссии и т. п.) по охране русского языка, его очистке и сохранению (см. статью Л. Боброва «Опасность, которую нельзя недооценивать» // Наш современник. 1987. № 10). Возрожденные у нас Дни славянской письменности следует, по-видимому, дополнить и подкрепить Днями русского языка (приурочив их к 19 ноября — дню рождения М. В. Ломоносова). Кстати говоря, подобного рода Недели родного языка с успехом проходят в республиках Советской Прибалтики как праздники национальной культуры. Хорошо бы, наконец, подумать и о создании Музея слова как центра по пропаганде отечественной словесности, русской языковой культуры.

В плане лингвистической экологии встают задачи и перед русской лексикографией. Например, ощущается необходимость создания ряда словарей «культурологического» толка и назначения: словаря архаизмов и историзмов, словаря метафор, словаря художественных символов и «поэтизм» и т. п. Ждет своих энтузиастов-составителей из числа молодых поколений лексикографов Нормативно-исторический словарь русского языка — с широким описанием и комментированием устаревших реалий старого русского быта, с подробным описанием процессов изменения литературных норм на всем протяжении их истории, с показом вклада писателей в языковую и художественную культуру русского народа.

Становление общемировой культуры связано с накоплением и освоением реальных достижений национальных культур. Основой многообразия духовной и материальной культуры будущего может стать только культурное наследие современности. Именно поэтому многократно возрастает роль экологии языка, экологии слова в общем контексте экологии культуры, предмет которой —

следование культурной среды как единого целого и сбережение этой среды.

Значение родного языка и «языковой среды» для жизни общества и для развития современной культуры, к сожалению, не всегда оценивается по достоинству. Нам близки и понятны недавние сетования на этот счет замечательного русского писателя В. Астафьева: «Жаль, что горькие и смешные уроки истории воспринимаются у нас как-то слишком легкомысленно и как-то замкнуто, а вопросы языка — как что-то стоящее в стороне от главных вопросов жизни. Ох, заблуждение-то какое тяжкое и давнее!» (Астафьев В. Зрячий посох // Москва. 1988. № 2).

Надо признать, что очень дорого стоили нам эти заблуждения в связи с известными негативными событиями последних лет в различных национальных регионах нашего многонационального государства. Вопросы развития гармонического национально-русского двуязычия, становления языкового союза народов нашей страны, укрепление функций русского языка как средства межнационального общения требуют к себе внимательного и глубоко компетентного отношения. Они прямо связаны с интернациональным воспитанием народов СССР, укреплением экономической мощи страны, свободным и равноправным развитием национальных языков и культур, их творческим взаимодействием и взаимообогащением в рамках социалистической цивилизованности и идеологии.

Для верного осознания задач современности полезно бывает вернуться к урокам прошлого, к сохраняющим свою ценность мыслям и положениям давних лет.

Русский поэт К. Батюшков в «Речи о влиянии легкой поэзии на язык», читанной при вступлении его в Общество любителей российской словесности в 1816 году, убежденно говорил о постоянном совершенствовании языка, которое «идет всегда наравне с успехами оружия и славы народной, с просвещением, с нуждами общества, с гражданскою образованностию и людскостию» (т. е. гуманизмом.— Л. С.).

«Будущее богатство языка», — то есть наше с вами! — К. Батюшков прямо связывал, через образование и просвещение, с «благоденствием страны, славнейшей и обширнейшей в мире». Вот так, не более и не менее того — с «благоденствием страны»!

Будем же верны заветам наших замечательных предков. И будем верить, по меткому слову поэта Н. Заболоцкого, в «полный разума русский язык». И не только верить, но и в меру своих сил помогать ему. История нашего Отечества доказала со всей неопровержимостью, что он этого достоин.

Гоголь и Даль



(из творческих общений)

В. И. Порудоминский

В начале нынешнего столетия небезызвестный исследователь отечественной литературы Е. А. Бобров обнаружил в повести В. И. Даля «Вахх Сидоров Чайкин», не раз прежде печатавшейся, упоминание о помещике, скупившем мертвые души и потом заложившем их как живые в Опекунском совете. На основании этой запоздалой находки ученый выдвинул предположение, «что сюжет „Мертвых душ“ принадлежал В. И. Далю, от которого услышал его в виде курьеза А. С. Пушкин», в свою очередь пересказавший занятую историю Гоголю (Бобров Е. А. Из истории русской литературы XVIII и XIX столетий. Два вопроса из творчества Н. В. Гоголя // Известия Отделения русского языка и словесности Академии Наук. 1910. Т. XV. № 1. С. 69).

Спустя полвека другой исследователь — Е. С. Смирнова-Чикина, пожалуй, чрезмерно запальчиво, если учесть давность публикации Боброва, опровергла своего предшественника. Повесть «Вахх Сидоров Чайкин» впервые опубликована в 1843 году в журнале «Библиотека для чтения», через несколько месяцев после выхода из печати первого тома «Мертвых душ», но существенно другое — в первой, журнальной редакции упоминания о предприимчивом помещике не было, оно появилось по прошествии трех лет, при переиздании произведения в собрании сочинений Даля («Повести, сказки и рассказы Казака Луганского». СПб., 1846, Т. 3). Е. С. Смирнова-Чикина отмечает бобровскую гипотезу с ис-

ключительной решительностью: Даль не только не был «хозяином сюжета» — оч присвоил его и вставил как эпизод в свою повесть; более того, «сам он выражения „мертвые души“ не знал. Поэтому в „Толковом словаре живого великорусского языка“, составленном В. И. Далем, оно отсутствует» (Русская литература. 1959. № 3. С. 191).

Наивно полагать, что Даль, если сам и не слыхивал в 30-х — начале 40-х годов этого выражения, то так и не узнал его за два десятилетия, минувших со времени выхода в свет гоголевской поэмы до завершения работы над «Толковым словарем». В самом деле, вопреки утверждению исследовательницы, в Далевом словаре при слове *душа* читаем: «*Мертвые души*, люди умершие в промежутке двух народных переписей, но числящиеся, по уплате податей, налицо». Толкование точно соответствует тому, которое дается в повести «Вакх Сидоров Чайкин», где выражение, Далю якобы неизвестное, тоже имеется; «Он скупил в губернии до двух сот мертвых душ (!), т. е. таких, которые значились налицо, по последней народной переписи, но которых уже не было» (Даль В. И. Полн. собр. соч.: В 10 т. СПб.-М., 1897. Т. III, С. 49; далее — том, стр.).

Теперь, когда для нас очевидно, что в основу замысла поэмы положен не частный случай, а явление, что сам Гоголь, скорее всего, знал не одно происшествие такого рода, наивность этой полевки (там, где нужна была лишь поправка) особенно явственна (поиски «хозяина сюжета», которыми заняты спорящие, — признание исключительности сюжета).

Для Боброва, не заглянувшего в первую, журнальную редакцию «Вакха Сидорова Чайкина», упоминание Даля о «мертвых душах» — доказательство его «взнакомства» с гоголевской поэмой. Опровергая эту версию, и совершенно справедливо (следует, правда, оговориться, что рукопись повести Даля не найдена), Смирнова-Чикина, однако, не решает вопроса. Наоборот: зачем было Далю напоминать в своей повести сюжет «Мертвых душ», тем более через три года после того, как с ним познакомилась вся читающая Россия?

Может быть, намеком на ответ послужит сходное обстоятельство. При переиздании повести в 1846 году Даль ввел в нее и отрывок из собственного очерка «Русский мужик», незадолго перед тем напечатанного. Речь в отрывке о крестьянах одной деревни, единогласно объявивших помещику, что они желали бы перейти с барщины на оброк. Помещик послал их в город к исправнику: исправник поставил мужиков рядом (...) начал с правого фланга и высек розгами сряду и поголовно всех» (III, 105).

Во вступлении к «Вакху Сидорову Чайкину» Даль просит читателей не искать в его создании «повести или романа»: «это ряд живых картин, из коих немногие только по пословице: *гора с горой*, — в связи между собою и с последующими» (там же, 2). Но *гора с горой* в сочинении Даля *сходятся*: разнообразные «живые картины» составляют в конечном счете одну общую картину тогдашней России, на всех концах которой чинятся несправедливости, человек обездолен и унижен.

«Гоголь и Даль пишут повести, а первый и комедия, в которых нападают на современные гадости», — отметил в дневнике 24 декабря 1842 года цензор Никитенко. Объяснил: остановлено издание сочинений Гоголя «и напечатанный уже также роман Даля: „Вакх Сидорович Чайкин“» (Никитенко А. В. Дневник: В 3 т. М., 1955. Т. 1. С. 257). Сохранилось письмо Даля к Никитенко — письмо-картинка: чиновник в вицмундире (Даль в эту пору служил в министерстве внутренних дел) низко кланяется, отставив руку со шляпой, перед ним лежит рукопись, озаглавленная «Вакх Сидоров Чайкин», а над нею огромный вопросительный знак.

Возможно, Даль, подготавливая спустя три года новое издание повести, пожелал дополнить ее новыми «живыми картинами», выводящими на свет божий «современные гадости»: в их ряду мошенничество с мертвыми душами так же или почти так же обыкновенно, как и порка исправником крестьян, вознамерившихся хоть несколько улучшить свое положение. Бобров утверждал, что Даль не знал о гоголевской поэме и ее сюжете, когда поведал в повести о схожей с чичиковской проделке, — зачем бы ему, хранившему в памяти множество всевозможных историй из русской жизни, обращаться к той, которой воспользовался Гоголь. Но Даль — обратился. Один из способов приуменьшить значение гоголевских замыслов (так было с «Ревизором») — низведение их до уровня частного случая, анекдота, невозможности, фарса. Неслучайно название поэмы по воле цензора расширено: «*Похождения Чичикова* или Мертвые души» (курсив наш. — В. П.), по все, описанное в поэме, — «похождения» не одного Чичикова. Может быть, вводя в свою повесть заведомо гоголевский сюжет, Даль как раз хотел показать эту его обыкновенность, неединичность, повторяемость.

В сочинениях Даля — при внимательном их чтении — пайдем немало других, более затененных, переключек с Гоголем (есть, впрочем, и откровенные — о них и сам Даль говорит, в рассказе «Жизнь человека или Прогулка по Невскому проспекту», например), пайдем и общие темы, что объяснимо требованиями времени, потребностями общества и литературы (параллель намечена еще

Герценом в статье «О романе из народной жизни в России»). Размеры журнальной статьи, однако, позволяют обозначить лишь существеннейшие черты творческих связей Гоголя и Даля.

Свое отношение к Далю-писателю и более того — свои творческие отношения с Далем-писателем Гоголь полно и точно определил в статье «о „Современнике“» — эта статья, посланная издателю журнала П. А. Плетневу, должна была, по мысли автора, открывать первую книгу «Современника» за 1847 год «в виде программы или вступления» (Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В 14 т. М.—Л., 1952. Т. VIII. С. 431; далее — том, стр.). Заметим, что желание Гоголя не осуществилось, статья не была опубликована: с 1847 года «Современник» перешел от Плетнева к Некрасову и Панаеву.

«Он не поэт, не владеет искусством вымысла, не имеет даже стремления производить творческие создания; он видит всюду дело и глядит на всякую вещь с ее дельной стороны, — пишет Гоголь о Дале. — Ум твердый и дельный виден во всяком его слове, а наблюдательность и природная острота вооружают живость его слова. Всё у него правда и взято так, как есть в природе. Ему стоит, не прибегая ни к завязке, ни к развязке, над которыми так ломает голову романист, взять любой случай, случившийся в русской земле, первое дело, которого производству он был свидетелем и очевидцем, чтобы вышла сама собой наизамательнейшая повесть. По мне он значительней всех повествователей-изобретателей. Может быть, и сужу здесь пристрастно, потому что писатель этот более других угодил личности моего собственного вкуса и своеобразью моих собственных требований: каждая его строчка меня учит и вразумляет, подвигая ближе к познанию русского быта и нашей народной жизни; но зато всяк согласится со мной, что этот писатель полезен и нужен всем нам в нынешнее время. Его сочинения — живая и верная статистика России». И следом: «Все, что ни достанет он из своей многовещающей памяти и что ни расскажет достоверным языком своим, будет драгоценным подарком для твоего альманаха» (VIII, 424—425).

Среди писателей-современников нет, пожалуй, ни одного, удостоившегося такой высокой и развернутой оценки Гоголя. Любопытно сравнить ее с тем, что говорится в статье «О „Современнике“» про Соллогуба, которому отдается первенство как бесспорно «нынешнему нашему лучшему повествователю» — сопоставление под пером Гоголя, может быть, и невольно (тогда это еще знаменательное), оборачивается откровенным *противопоставлением*. «Никто не щеголяет таким правильным, ловким и светским языком», как Соллогуб; «слог его точен и приличен во всех выраженьях и оборо-

тах». У Даля, как видели, язык *достоверный*, слово вооружено наблюдательностью и природной остротой. Впрочем, «остроты, наблюдательности, познаний всего того, чем занято наше *высшее модное общество*», и у Соллогуба довольно, но, согласимся, это не познание русского быта и народной жизни, которые находит Гоголь в сочинениях Даля. Наконец, «собственная душа» Соллогуба еще не набралась «содержанья более строгого и не доведен еще он своими внутренними событиями к тому, чтобы строже и отчетливей взглянуть вообще на жизнь» (там же; курсив наш.— В. П.). И тут же — про твердый и дельный ум Даля, у которого всё правда, про его способность видеть всюду дело, взять всё так, как есть в природе. Поэтому, хотя Соллогуб бесспорно «лучший повествователь», Даль («по мне») «значительней всех повествователей-изобретателей». Он «не владеет искусством вымысла», зато, как ни один другой писатель, угодил вкусу и требованиям Гоголя.

В отзыве Гоголя слова «живая и верная статистика» как бы итоговые и звучат особою похвалою. Соединение понятий «статистика» и «художественное произведение» — примета времени (примета, добавим, заново, с новой силой сознаваемая нами сегодня). Вот и Белинский, не ведая о формуле Гоголя, также именует Даля «живую статистику живого русского народонаселения» (Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1956. Т. X. С. 82; далее — том, стр.). В Словаре Даля читаем: «*Статистика*, наука о силе и богатстве государства, о состоянии его в данную пору» и — что для нас существеннее — «история и география в известный срок». Гоголь высматривает в сочинениях Даля бесчисленные и необыкновенно дорогие для него подробности этой «истории и географии» современной России — именно эти подробности, точно наблюдаемые, воплощенные в остром и достоверном слове, открывают возможности постижения быта и жизни народа.

Накопление разнообразнейших заготовок, всего, «что только зацепило хоть сколько русского человека и его жизни» (XIII, 290), — одна из важнейших, по его словам, сторон творческой работы Гоголя. Сочинения Даля оказываются весьма важной и необходимой частью в составе обследуемых и изучаемых Гоголем материалов. По обилию и разнообразию сведений повести, рассказы и очерки Даля не имеют равных в тогдашней литературе: они, по свидетельству Белинского, «обогащают вас такими знаниями, которые, вне этих рассказов, не всегда можно приобрести и побывавши там, где бывал Даль» (X, 82).

Обращаясь к собственному творчеству, Даль (как бы подтверждая суждение Гоголя) предпочитал именовать себя не «художником», но «собирателем» (это — не о Словаре только, в равной

мере и о своей писательской работе). «Собирать», по Далеву толкованию, — «отыскивать и соединять, совокуплять, приобщать одно к другому». Даль говорил: «Иное дело выкопать золото из скрытых рудников народного языка и быта и выставить его миру на показ; иное дело переделать выкопанную руду в изящные изделия. На это найдутся люди и кроме меня. Всякому свое» (I, XXXII).

Трудно допустить, что Даль — Казак Луганский — на протяжении нескольких десятилетий один из самых читаемых русских писателей, вовсе отрицал художественные достоинства своих произведений, ну, хотя бы физиологических очерков, о которых даже строгий Белинский писал, что автор в них «является уже не просто бывалым, умным, наблюдательным человеком и даровитым литератором, но еще художником» (X, 82). Да и «соединять», «совокуплять» — задача более творческая, нежели собирательская. Однако твердый и дельный ум Даля толкал его точно осмыслить свое положение в отечественной словесности.

И снова, будто подсмотрев гоголевский отзыв («ему стоит... взять... первое дело»), Даль наставлял позже него вступившего на литературное поприще Григоровича: «(...) Нельзя же писать на память кой-что, иначе уличат в ошибке, в выдумках; а помнить случаи эти до всех мелочей нельзя, обмолвишься. Вот почему Вам остается добиться в Мин(истерстве) вн(утренних) дел до архива, по отделению *происшествий*, а особенно по представлениям за подвиги к наградам и медалям. В этом случае прилагается не только донесение, но и самое *следствие*, со всеми допросами и показателями. Тут найдете много (...)» (ЦГАЛИ, ф. 138, оп. 1, ед. хр. 73).

Слова *дело*, *дельный* в гоголевской характеристике Даля («видит дело», «глядит... с дельной стороны», даже это — взять «любое дело», случай) — тоже примета и слог времени, требования его, раньше и острее других прочувствованные и осознанные Гоголем. Статья «Русская литература в 1843 году», в которой Белинский отмечал бывалость Даля, открывается утверждением, что литература наша твердо решилась «принять дельное направление» (VIII, 45).

В 1847 году Гоголь обращается к приятелю с просьбой прислать ему в Италию повести Даля («которые мне очень нужны»): «Пожалуйста, не забывайте того, что мне следует присылать только те книги, где слышна сколько-нибудь Русь (...) Мне нужны не те книги, которые пишутся для добрых людей, но производимые нынешнею школою литераторов, стремящеюся живописать и цивилизовать Россию. Всякие петербургские и провинциальные картины, мистерии и прочие». Ему нужны не просто книги для чтения, но книги *дельные*, книги, содержащие материал, «руды» (по Далеву говоря). Коснувшись повестей Даля, он прибавляет: «Это-

го писателя я уважаю потому, что от него всегда заберешь какие-нибудь сведения положительные о разных проделках в России» (XIII, 214). В «Вакхе Сидорове Чайкине» между прочими «выставлена на показ» российская «проделка» с «мертвыми душами», которая могла бы стать для Гоголя «рудой», не обрати он уже прежде эту «руду» в «изделие».

П. В. Анненков в воспоминаниях особо отмечает влечение Гоголя к *дельным* людям, *дельным* сведениям, *дельной* литературе: «Гоголь ненавидел *идеальничанье* в искусстве (...) Поэзия, которая почерпается в созерцании живых, существующих, действительных предметов, так глубоко понималась и чувствовалась им, что он, постоянно и упорно удаляясь от умников, имеющих готовые определения на всякий предмет, (...) мог проводить целые часы с любым конным заводчиком, с фабрикантом, с мастеровым, излагающим глубочайшие тонкости *игры в бабки*, со всяким специальным человеком (...) Он собирал сведения, полученные от этих людей, в свои записочки (...) — и они дожидались там случая превратиться в части чудных поэтических картин. Для него даже мера уважения к людям определялась мерой их познания и опытности в каком-либо отдельном предмете» (Гоголь в воспоминаниях современников. М., 1952. С. 261). Даль для Гоголя — человек *специальный* (судя по «Толковому словарю», он и об игре в бабки мог поведать немало тонких подробностей); в письме Гоголя к доброй его знакомой А. М. Вьельгорской читаем: «Не позабудьте, что вы мне обещали всякий раз, когда встретите Даля, заставлять его рассказывать о быте крестьян в разных губерниях России» (XIV, 93). Несколько строк о Дале находим в записной книжке Гоголя 1846—1851 годов: «С Далем о сословиях нынешних обществ и о пролетариях в наших городах» — похоже, записью отмечена то ли состоявшаяся, то ли предполагаемая встреча (VII, 385).

Окончание следует

Рисунок Б. Захарова

ИЗ ЗАПИСОК ФИЛОЛОГА

История одной ошибки



В. Э. Вацуро,

кандидат филологических наук

Ошибка, о которой хотелось бы рассказать читателю, живет в литературе более полутора веков, и автор этих строк был одним из тех, кто повторил ее в печати. Это дает ему основание и рассказать ее историю, — как кажется, весьма поучительную. Эта история ложной атрибуции, и начинается она с лета 1831 года, когда в петербургском окружении Пушкина составляли очередной выпуск альманаха «Северные цветы».

Альманах создавался медленно и трудно. Год начался смертью Дельвига, издателя всех прошлых выпусков и вдохновителя старшего и младшего поколений участников, — и потрясение еще не прошло. Последний выпуск делался в память Дельвига и в помощь его осиротевшей семье, и Пушкин стал во главе всего предприятия. Это могло бы побудить его друзей-поэтов отобрать для «тризны по Дельвигу» лучшее, что у них было, но холерный 1830 год разединил людей и прервал почтовые сообщения.

Из близких людей Дельвига в Петербурге к середине года находился один Орест Сомов, постоянный помощник покойного издателя, — и он тоже собирал материалы, как мог и как умел. Но он работал почти в изоляции, — и по причине трудности сообщения, в потому, что после смерти Дельвига ослабли его литературные связи. До августа он почти никому не писал и трудился на свой страх и риск.

В конце сентября он впервые после долгого перерыва увиделся с Пушкиным, и они говорили об альманахе, а в середине октября Пушкин уже сумел прочитать добытые стихи и прозу. Он написал Вяземскому: «Северные цветы» будут любопытны» (Пушкин. Полн. собр. соч. М. — Л., 1941. Т. XIV. С. 233).

Он мог иметь в виду и свои собственные сочинения — две сцены «Моцарта и Сальери», несколько «анфологических эпиграмм», «Анчар» и другие стихи, стихотворения Жуковского и, наконец,

посмертную публикацию неизвестных никому стихов Дельвига. На этой публикации мы и остановимся.

«Пять стихотворений барона Дельвига» открывали отдел «Поэзия». Им было предпослано предисловие следующего содержания: «...Из помещенных здесь пяти пьес элегия *К Морфею* сочинена была еще до 1824 года; сонет к Российскому флоту, написанный в Ревеле 1827, до самой кончины поэта был тайною даже для друзей его. Две *русские песни* — из коих одна не окончена — хранились в портфеле сочинителя более двух лет: он все еще хотел отделать их окончательно. *Отрывок* заключает в себе хор духов из драмы, в которой барон Дельвиг хотел дать полное развитие свободной фантазии. План сей драмы был уже набросан, и вместе с оным уцелело несколько хоров, по большей части недоконченных» (Северные цветы на 1832 год. М., 1980. С. 141).

Заметка, по-видимому, принадлежала Оресту Сомову. Ее мог, конечно, написать и П. А. Плетнев, — оба они были своими людьми в доме Дельвига, и обоим вдова могла бы передать оставшиеся после него бумаги. Стиль заметки равно может указывать и на того, и на другого. Но Сомов стоял ближе к делам издания; к тому же есть некоторые детали текста, которые выдают авторство именно Сомова, но о них позже.

Сейчас нам важно, что публикатор имел в руках бумаги Дельвига. Он видел две черновые тетради большого формата, в позднейшем исследовательском обиходе получившие название «приходо-расходной книги» и «счетной книги», откуда он взял для публикации две «русские песни» и отрывок «На теплых крыльях летней тьмы...», относившийся, по-видимому, к незаконченной драме «Ночь на 24 июня»; фрагмент драмы также находился в одной из этих тетрадей, и о ней-то и шла речь в предисловии. Все эти автографы дошли до нас; они потом принадлежали Плетневу.

Но в руках издателей альманаха были еще две рукописи, о которых мы ничего не знаем. Одна из них — автограф или копия «Сонета», написанного в Ревеле. Вторая — рукопись стихотворения «К Морфею». Об этом последнем и пойдет далее речь.

Стихи «К Морфею» не принадлежат к числу известных, и потому мы приведем их здесь целиком, чтобы обратить внимание читателя на некоторые детали:

Увы! ты изменил мне,
Нескромный друг, Морфей!
Один ты был свидетель
Моих сокрытых чувств,
И вздохов одиноких,
И тайных сердца дум,

Зачем же, как предатель,
В видении ночном
Святую тайну сердца
Безмолвно ты открыл?
Зачем, меня явивши
Красавице в мечтах,

Безмолвными устами
 Принудил все сказать?
 О! будь же, бог жестокий,
 Будь боле справедлив:
 Открой и мне взаимно,
 Хотя в одной мечте,
 О тайных чувствах сердца,
 Сокрытых для меня.
 О! дай мне образ милый
 Хоть в призраке узреть;
 И пылками устами

Прильнув к ее руке...
 Когда увижу розы
 На девственном челе,
 Когда услышу трепет
 Стыдливой красоты,
 Довольно — и, счастливец,
 Я богу сей мечты
 И жертвы благовонны,
 И пурпурные маки
 С Авророй принесу!

Таково это стихотворение, — без сомнения, удачное. По своей теме, образному строю и языку оно близко ранней манере Дельвига. «Сон» — очень характерная тема для гедонистической лирики XVIII — начала XIX вв.; едва ли не Батюшков ввел ее в русскую литературу как метафорическое обозначение поэтической свободы, и вслед за ним ее подхватили в кругу лицейстов. В 1816 году ее охотно культивирует Пушкин, которому принадлежит большое шутливо-назидательное сочинение «Сон (отрывок)» и несколько стихотворений, где изображена возлюбленная, явившаяся во сне поэту...

Но, вероятно, чаще всех к этому поэтическому мотиву обращался именно Дельвиг. Он вынес его за пределы лицейской лирики, и стихотворение «К Ласточке» построил на образе Филлиды, явившейся в сновидении, а в «Романсе» («Проснися, рыцарь, путь далек») заставил героя демонстративно предпочесть сонные мечты о любимых реальным благам и славе. Уже в конце жизни он возвращается к теме «сна», хотя и сильно видоизменив ее, и пишет в 1828 году «Сон» («Мой суженый, мой ряженный...»)

В лицейские же годы Дельвиг декларативно провозглашает сон высшим жизненным благом. Сон есть «лекарство от несчастий», заявляет он в стихотворении под этим названием, любовь же, по его версии, есть не что иное, как «несвязный сон» (Любовь).

Создавался литературный образ поэта — «ленивца сонного»; он накладывался на реальный облик: Дельвиг в самом деле был ленив и склонен поспать.

Стихи «К Морфею» вполне соответствовали такому облику субъекта лирических произведений раннего Дельвига. Они близки и по своему поэтическому языку. Вспомним, например, его лицейское стихотворение «К Амуру» (Из Геснера), написанное, так же, как «К Морфею», безрифменным трехстопным ямбом:

Еще в начале мая
 Тебе, Амур жестокий!

Я жертвенник поставил
 В домашнем огороде
 И розами и миртом
 Обвил его, украсил.
 Не каждое ли утро
 С тех пор венок душистый
 Носил тебе как жертву?

Оба стихотворения имеют одинаковое построение: они представляют собой обращение к условному античному мифологическому герою и осуществляют, как это принято называть, коммуникативный перенос, то есть переключают речевую форму диалога в ситуацию монологической речи (см. об этом: Ковтунова И. И. Поэтический синтаксис. М., 1986. С. 97). Это исповедальные любовные стихи, содержание которых опосредовано античной темой, и, поскольку содержание исповедей близко (лирический субъект отвергнут возлюбленной или сомневается в ее ответном чувстве), в обращении появляются одинаковые формулы:

О! будь же, бог жестокий,	Тебе, Амур жестокий!
Будь боле справедлив (...)	Я жертвенник поставил (...)

В оригинале у Геспера нет этого эпитета: там стоит «lieber Amor» — «милый Амур». Здесь тексты подходят друг к другу ближе, чем перевод к оригиналу.

И античный реквизит создается одними и теми же средствами, лишь слегка варьированными в зависимости от адресата: Морфей — бог сна — получает маки, Амур — розы и мирты, но в обоих случаях эпитеты синонимичны: «жертвам благовоным» в стихах «К Амуру» соответствует «венки душистый», не раз приносимый ему «как жертва».

Близость стихов, таким образом, очевидна, — и она поддерживала заблуждение первых издателей и последующих исследователей, приписывавших Дельвигу не принадлежавшее ему стихотворение «К Морфею», — написанное Н. И. Гнедичем и опубликованное в восьмом номере «Сына отечества» за 1816 год.

Что же касается Ореста Сомова, то для добросовестного заблуждения у него были и некоторые дополнительные причины.

Когда Дельвиг стал печататься и принимать участие в литературной борьбе, Сомов был в лагере его противников. Он был единомышленником тех пародистов из журнала «Благонамеренный», которые окрестили Дельвига памфлетным именем «Сурков» и печатали якобы от его имени стихотворные саморазоблачения. Так, двустипные «Эпитафия баловню-поэту» подписано было че-

тырьмя буквами «Б. А. А. Д.» (то есть барон Антон Антонович Дельвиг): «Его будили — ныне нет, — /Теперь-то счастлив наш поэт».

В том же «Благонамеренном», в том же 1822 году (№ 14) обнаруживаем не лишнее остроумие стихотворение «К портрету NN», на сей раз подписанное «Д»: «Он, говорят, охотник спать — /Однакож в сто одном послапье/Он доказать имел желанье,/Что он охотник усыплять».

Эти полемики рассказаны в биографиях Дельвига (см. напр.: В. П. Гаевский, Дельвиг. Статья вторая // Современник. 1853. Т. 39. Отд. III. С. 9 и след.), и мы не будем на них останавливаться подробно. Обратим внимание лишь на одно стихотворение, явно пародийное и прямо или косвенно задевающее Дельвига. Оно называется «К Морфею», — так же, как и интересующие нас сейчас псевдодельвиговские стихи, и было напечатано в «Благонамеренном» за 1822 год (№ 15):

Милой Лизанькой плененный,
С сердцем в роковой борьбе, —
О Морфей достопочтенный!
Я с мольбою униженной
Обращаюсь к тебе.

Ах! услышь — и сожаленье
Ты страдальцу окажи:
В легком, тонком сповиденьи
Как воздушное явленье,
Ты мне Лизу покажи.

Пусть одежда голубая
Обвивает стройный стан;
И, на персях *воздыхая*,
Пусть цепочка дорогая
Держит гибельный колчан.

Пусть сафирные, живые
Глазки светятся душой;
В кудрях волосы златые
На плеча ея младые
Резвой сыплются струей.

Или в облак белоснежный,
Как во ткань, облечена,
Пусть, в награду страсти нежной,
В знак надежды *безнадежной*...
Мне улыбку шлет она.

Ты услышь — благодаренье
Я готов тебе воздать:
Сотворю стихотворенье

Всем чтецам на усыпление —
И сам буду с ними спать.

Стихи подписаны памфлетным именем: «Морфеев».

В них пародируется как раз то, что составляет лирический сюжет стихов «К Морфею» и целого ряда подлинных дельвиговских стихов: мотив «видения», появления во сне образа возлюбленной. Пародия показывает, что этот мотив в сознании критиков и пародистов довольно прочно связался с поэзией Дельвига.

Всего этого не мог не помнить Сомов, когда несколько лет спустя, короче познакомившись с Дельвигом, он стал его сотрудником, а потом и одним из близких друзей.

Но и этого было мало.

В руках Сомова, как мы уже сказали, была копия стихов Гнедича «К Морфею». Вероятно, Дельвиг сам переписал понравившиеся ему строки, — может быть, сразу по их выходе. Эта копия не дошла до нас, и мы не можем ее датировать. Точная дата написания «К Амуру» также неизвестна, — и можно лишь предполагать, и то с большой осторожностью, что сходство текстов не случайно и что Дельвиг, переводя Геснера, испытал влияние стихотворения Гнедича.

У Сомова не возникло подозрений, что он имеет дело с копией чужого текста, — тем более, что он был похож на собственные стихи Дельвига и содержал мотивы, которые общим мнением воспринимались как «дельвиговские». Но Сомов знал о Дельвиге еще нечто, на что сделал не вполне ясный намек: «элегия (...) сочинена была еще до 1824 года».

Что означала эта дата и почему именно она должна была быть для Дельвига творческим рубежом? Здесь есть только одно объяснение: Сомов знал — вернее, был убежден, что знает, кому адресовано стихотворение. Он знал, что Дельвиг был сильно увлечен весьма примечательной женщиной — хозяйкой петербургского салона Софьей Дмитриевной Пономаревой, которой посвятил едва ли не лучшие свои стихи. Этот роман не мог быть безразличен Сомову, ибо он сам испытал к ней сильное и неразделенное чувство.

Пономарева умерла 4 мая 1824 года. Роман с ней Дельвига окончился несколько ранее. Примечание Сомова писалось для посвященных.

Непостижимым образом никто из современников не заметил ошибки, — во всяком случае, не указал на нее печатно. Сила иллюзии была такова, что рецензент «Северной пчелы» (а соиздатель газеты Н. И. Греч давно и хорошо знал Гнедича) объявил стихи

«К Морфею» лучшими из известных донныне стихотворений Дельвига (Северные цветы на 1832 год. С. 356).

Вероятно, единственным, кто мог бы сразу развеять всеобщую иллюзию, был Гнедич, готовивший в это время сборник своих стихов. Он включил в него и «К Морфею», указав (как и при прочих стихах) дату написания, — и книжка вышла в свет через полгода после альманаха. Но промолчал и Гнедич. Может быть, он не прочел публикации Сомова, а может быть, не хотел, чтобы имя только что скончавшегося Дельвига, которому он посвятил трогательные надгробные стихи, стало предметом двусмысленных разговоров.

А еще через год не осталось никого из людей, прямо причастных к этой истории: в феврале 1833 умер Гнедич, а в мае того же года — Орест Сомов.

Стихи «К Морфею» печатаются по сей день и в сочинениях Гнедича, и в сочинениях Дельвига. В последний раз — в издании под редакцией автора этих строк (Дельвиг А. А. Сочинения. Л., 1986. С. 161–162). Пришло время, наконец, эту ошибку исправить...

Самая история ее, однако, интересна и поучительна. Выяснить причину ложной атрибуции часто важнее, чем указать на самый факт, ибо только такое изучение ведет нас в глубины исторического и литературного сознания.

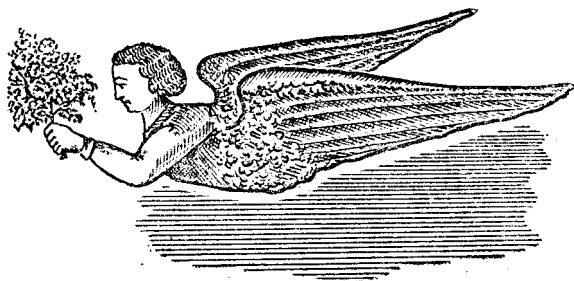
Ленинград

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ПИСАТЕЛЯ

ЗЕФИРОТЫ

В. Ф. Одоевского и Л. Н. Толстого

Т. А. Иванова,
кандидат филологических наук



В эпистолярном наследии Льва Николаевича Толстого встречается загадочное слово *зефироты*. Толстой употреблял его в качестве прозвища племянниц, дочерей М. Н. Толстой, а также своей молоденькой жены и ее сестры, Т. А. Кузминской. Так, в письме к М. Н. Толстой от 14 августа 1864 года Лев Николаевич писал: «Здравствуй, Машенька, со всеми зефиротами» (Полн. собр. соч.: В 90 т. М.—Л., 1953. Т. 61. С. 52; далее — только том и стр.). Или в письме к жене С. А. Толстой от 9 августа того же года: «(...) явился Сережа (брат Л. Н. Толстого.— Т. И.). Он совсем не знал, что мы тут, просто катался со всеми зефиротами и заехал сюда» (83, 37).

Однако известно, что слово это придумал не Толстой, а писатель-романтик В. Ф. Одоевский, назвавший так свою статью «Зефироты», анонимно опубликованную им 1 апреля 1861 года в газете «Северная пчела» (№ 73). Статья была построена Одоевским как хронологическое изложение материалов из мексиканской газеты «Chiapas Advertiser», где сообщалось о появлении «совершенно новой, странной и небывалой на земном шаре породы животных», крылатых людей — зефиротов.

В 1980 году С. Анкерпиа в статье «Зефироты Льва Толстого», напечатанной в венгерском журнале «Studia slavica» (т. XXVI),

было высказано предположение, что публикация Одоевского представляет собой «знаменательное иносказание» и является «едкой сатирой» на крестьянскую реформу 1861 года. И хотя, как отмечали и предшествующие исследователи творчества Одоевского (см., например, предисловие Е. Ю. Хин // Одоевский В. Ф. Повести и рассказы. М., 1959. С. 15–18; Е. А. Маймин. В. Одоевский и его роман «Русские ночи» // Одоевский В. Ф. Русские ночи. Л., 1975. С. 254), в его произведениях, действительно, причудливо и свободно сочетается необыкновенное и фантастическое с ироническим и сатирическим изображением повседневного и социально-бытового, однако предложенное венгерским филологом объяснение «знаменательного иносказания» представляется несостоятельным.

Безусловно, В. Ф. Одоевский, как и большинство прогрессивных литераторов того времени, был открытым противником крепостного права и проявлял искренний интерес к его отмене. Однако, в отличие от писателей и публицистов демократического лагеря, реформу 1861 года он принял безоговорочно и о «едкой сатире» на нее не помышлял. Об этом с несомненностью свидетельствуют многочисленные записи Одоевского в его дневнике «Текущая хроника и особые происшествия», относящиеся к этому событию (Лит. наследство. 1935. Т. 22/24. С. 179, 193, 241). Все они показывают восторженное отношение Одоевского к реформе, сохранявшееся на протяжении всей последующей жизни писателя. Для него день 19 февраля, когда был подписан манифест и «Положения о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости», стал «великим днем», который он ежегодно отмечал в кругу своих друзей.

В то же самое время Л. Н. Толстой в письме к А. И. Герцену от 14 марта 1861 года дал совсем иную оценку этого документа: «Как вам понравился манифест? Я его читал пынче по-русски и не понимаю, для кого он написан. Мужики ни слова не поймут, а мы ни слову не поверим. Еще не нравится мне то, что тон манифеста есть великое благодеяние, делаемое народу, а сущность его (...) ничего не представляет, кроме обещаний» (60, 374).

Разгадка замысла статьи Одоевского известна давно, и ключ к ней содержится в рукописном наследии писателя, хранящемся в Государственной Публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде (ф. 539). В этом фонде имеется, во-первых, незаконченный автограф «Зефиротов» и сопровождающее его письмо в редакцию «Северной пчелы», во-вторых, писарская копия, несколько отличающаяся от газетной публикации и озаглавленная «Замечательная игра природы/Из записок путешественника/».

В конце копии Одоевским сделана карандашная приписка:

«Эту статью предполагается напечатать в номере 1-го апреля; а в следующем затем номере сказать следующее: «По недосмотру наборщика под вчерашнюю статью: «Замечательная игра природы» пропущено следующее означение: «Это известие почерпнуто из Шиапской газеты 3860-го года».

И действительно, в номере «Северной пчелы», вышедшем в понедельник 3 апреля 1861 года (№ 74), было опубликовано такое «Объяснение»: «По неосмотрительности наборщика в статье «Зефироты», помещенной в Северной пчеле первого апреля (№ 73), пропущено несколько слов в самом ее начале. Напечатано: «на днях получена здесь Chiapas Advertiser», следует читать: «на днях получена здесь газета Chiapas Advertiser за пять лет ХХІХ столетия с 2857 по 2861 год».

И хотя газетный текст не вполне совпадает с собственноручной припиской Одоевского, однако смысл «объяснения» один и тот же — перед нами, вне сомнения, первоапрельская мистификация писателя.

Итак, слово *зефироты* — авторское новообразование Одоевского, использованное для наименования вымышленного персонажа. Как заметила В. Н. Хохлачева в статье «Индивидуальное словообразование в русском литературном языке XIX века», «случаи индивидуального словообразования в целях собственно номинации очень редки». Следовательно, *зефироты* — один из подобных редких случаев. Тот же автор не без основания замечает, что назначение слов, представляющих индивидуальное образование, «как бы исчерпывается данным единичным использованием, и другого применения они не имеют» (Материалы и исследования по истории русского литературного языка. М., 1962. Т. V. С. 182, 166). Однако судьба *зефиротов* Одоевского оказалась иной. Редакционным разъяснением того, что это первоапрельская шутка, она не заканчивается.

Уже 13 апреля цензор В. Бекетов разрешает печатать брошюру «Зефироты и зевороты», подписанную неким А. Полоротовым. Следует думать, что эта фамилия является псевдонимом, созданным не без остроумия, в подражание *зефиротам*. *Полоротый*, по Далю, — «хохотун, повеса, насмешник». Точно так же, как и каламбурное *зевороты*, то есть ротозей, принявшие первоапрельскую мистификацию за истинную правду.

Естественно предположить, что под А. Полоротовым скрывался сам Одоевский, который, как известно, постоянно пользовался псевдонимами. В «Словаре псевдонимов русских писателей» И. Ф. Масанова, далеко неполном, их указано около шестидесяти. Однако это не так. В дневнике «Текущая хроника» Одоевский

сделал следующую запись от 22 апреля 1861 года: «Моей статьей: „Зефироты“ воспользовался какой-то спекулянт, издал ее, перепечатав почти всю и прибавив сцену купцов, собирающихся посылать в Америку за зефиротами и показывать их в Петербурге. (...) Назвал он по своему прибавлению „Зефироты и зевороты“ (вместо „Ротозен“?) — Панаев первый известил меня об этой спекуляции» (Лит. наследство. Т. 22/24. С. 132).

Неизвестный же нам автор «Зефиротов и зеворотов» от себя прибавил следующие подробности: «1-е апреля было в субботу; по воскресеньям Северная пчела не выходит, следовательно, статью эту народ читал в Петербурге во всех ресторанах, трактирах и ресторациях два дня кряду, в особенности много читателей было в воскресенье — этого было весьма достаточно для того, чтобы весть о вновь открытых крылатых людях, питающихся только запахом цветов, разнеслась повсюду, с горячими уверениями востовщиков, что это действительная правда, потому что напечатано в газетах, со ссылкой на затронутые этого вопроса наукой и т. д. А так как, при всем этом, нынче такое время, что все и диковинки становятся не в диковинку, то девять десятых народонаселения в Петербурге (надо полагать, что не только там — Т. И.) уверовали в истину открытия и возможность существования зефиротов. Объяснение редакции Северной пчелы, напечатанное в понедельник 3 апреля, (...) почти что не пошло впрок. Его прочитали и поняли, пожалуй что, только те, которые и без того, хоть не сразу, а все-таки уже догадались, что зефироты — шутка для первого апреля, а огромное большинство и по сей час находится в уверенности, что рано или поздно, а привезут зефирота в Петербург и станут показывать сперва, конечно, в пассаже, а потом, на масляницу, и на Адмиралтейской площади» (Зефироты и зевороты. СПб., 1861. С. 9—10).

Но вернемся к Л. Н. Толстому. Существуют две версии о том, как слово, придуманное Одоевским в качестве названия фантастических существ, полулюдей-полуптиц, стало известно Толстому. Одна из них принадлежит Т. А. Кузминской, вторая — ее старшей сестре, жене писателя — С. А. Толстой.

В воспоминаниях Т. А. Кузминской «Моя жизнь дома и в Ясной поляне» (М., 1986) на стр. 206 находим: «Помню раз, как он сам рассказывал: — (...) вы знаете, я читал в газете (курсив наш. — Т. И.), что прилетели птицы зефироты, большие с длинными клювами, невиданные нигде...»

Однако, думается, что эти воспоминания Т. А. Кузминской не соответствуют действительности. Прежде всего потому, что *зефироты* — не птицы с длинным клювом, а, как было сказано, крыла-

тые люди. Вот как описана самим Одоевским «одна очень хорошенькая зефиротка»: «(...) лицо совершенно правильное, глаза черные, несколько продолговатые, (...) маленький ротик (а не длинный клюв!— *Т. И.*), на щеках ямочки, темнорусые волосы, кудрями рассыпанные по белым обнаженным плечам...» Если бы Толстой действительно читал «Северную пчелу», то он не мог бы пазвать зефиротов «птицами с длинными кювами». Более того, 1 апреля 1861 года Толстой находился в Германии, в Веймаре, где, естественно, читать «Северную пчелу» не мог. В Россию он вернулся лишь 13 апреля и вряд ли сразу взялся за просмотр русских газет.

Еще менее убедительно предположение В. И. Сахарова, что Толстой читал статью «о зефиротах и зеворотах», авторство которой исследователь приписал Одоевскому (Вопросы литературы. 1986. № 8. С. 206). Дело в том, что на обложке брошюры, изданной А. Полоротовым, имеется изображение *зефиротки*, достаточно близкое тому, которое воспроизвел сам Одоевский на обороте 18 листа автографа (ГПБ, ф. 539, оп. 1, п. 31). Трудно вообразить, что Толстой, увидев такое изображение, смог затем отождествить его с птицей.

Поэтому более достоверным представляется рассказ С. А. Толстой, которая вспоминала: «(...) в Ясную поляну изредка приезжала монахиня Тульского монастыря (...) Раз, приехавши из Тулы, она рассказала, что в газетах напечатано (а так оно и было — *Т. И.*), что прилетели огромные — не то птицы, не то драконы, зовут их Зефироты. Сначала Л. Н. говорил про меня и сестру Таню: „жили, жили с тетенькой покойно, и прилетели к нам эти зефироты“. Потом он перенес это название и на племянниц» (83, 39).

Конечно же, Л. Н. Толстой не был легковерным ротозеем-«зеворотом». Он, видимо, и не подозревал, что словечко *зефироты* изобретено Одоевским. Однако оно, раз им услышанное, понравилось ему, пришлось, так сказать, по душе, и Толстой стал употреблять его как прозвище близких ему людей. Все «зефироты» — свояченица, племянницы и молоденькая жена — словно летали и порхали вокруг него, нарушая покой: было тихо и покойно, стало шумно и беспокойно весело.

Ленинград

Рисунок выполнен С. Владимировым

ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ



Что говорят рукописи

С. А. Рейсер,
доктор филологических наук

Всё или все?

В 21-м явлении третьего действия «Горя от ума» старуха Хлѣстова в споре с Фамусовым бросает:

Все врут календарь.

Какое же чтение этого слова правильно — оно может произноситься как *всѣ* и как *все* — это влияет на смысл реплики. Достаточной, казалось бы, приметой является обращение к рукописям и к текстам, напечатанным по старому правописанию. Так ли это?

В старшем из авторизованных списков, так называемом *Музейном* (1823), читаем *все* — точек над *e* нет, но нет и *ягь* (название буквы **ѣ** в церковнославянской и старой русской азбуке, обозначавшей особый звук, впоследствии совпавший с *e* — С. Р.). Очевидно, произносилось *всѣ*.

В следующем по времени *Жандровском* списке (1824), более или менее внимательно просмотренном автором, находим то же самое.

В самой поздней рукописи — *Булгаринской* (1828) это слово с окончанием *ягь*.

На этом рукописная традиция, сколько-нибудь для нас авторитетная, заканчивается. Многочисленные рукописные варианты комедии восходят по преимуществу к Жандровскому или Булгаринскому спискам и сплошь и рядом представляют собою копии с копий. В большинстве случаев обнаруживаем написание с *ять*, *ѣ* встречается гораздо реже. Дело осложнилось недостаточной грамотностью писаря, не всегда пристальным вниманием автора, а также неустойчивостью догровотской орфографии. Обратимся к Жандровской рукописи «Горя от ума», вышедшей отдельным изданием под редакцией, с введением и примечаниями Н. К. Пиксанова (М., 1912).

Чаще всего в рукописи находим *ять*, где его не должно быть. С *ять* написаны, например, слова: семейство, певец, вестей, надменный, богаче, мелочь, сеней и т. д. Но *ять* нет там, где ему полагается быть: *ленив* и др.

В еще большей степени в Жандровской рукописи «неполадки» с другой буквой, для нас особенно важной. *Хлёстова* всегда с двумя точками. Также с двумя точками находим: *умён, огорчённым, упрёка, издалёка, старичёк, скачёк, дитёй, свёл, лицём, подлецём, напролёт, молодёжи, упрёку, сурьёзно, лёд, просёлками* и др. Иногда обнаруживаем оба написания – с *ѣ* и без точек. Например, *сошел* и *сошёл*, а порою одно и то же слово пишется по-разному: *княжён* и *княжон*.

В некоторых случаях чтение *ѣ* привудительно, даже если графически оно не обозначено: «Там стены, воздух, *все* приятно». Или: «Ах! если рождены мы *все* перенимать(...)», «Ты не слыхал, как он *поет*?..» Но иной раз принудительно чтение *е*, а не *ѣ*: «Сам плачет, и мы *все* рыдаем...». Писарь написал *е* без точек, а Грибоедов исправил на *ять*.

В Музейном и в Булгаринском списках ошибки примерно того же характера.

Таким образом, три рукописи не дают сколько-нибудь прочного основания для принятия того или иного чтения. В ряде случаев показания рукописей противоречивы.

На очереди печатные источники. Конечно, просмотреть все издания пет ни возможности, ни надобности – проследим лишь за более или менее значимыми. В единственной прижизненной публикации части комедии в альманахе «Русская Талия на 1825 год» находим *все* с *ять*. То же самое и в изданиях 1833, 1839, 1854, 1858, 1860, 1862, 1889, 1908 и последующих годов – ни в одном *ѣ* нет. За много лет написание с *ять* прочно укоренилось: может быть, оно восходит к произношению автора? В редчайшем анонимном и бесцензурном издании приблизительно 1830-х гг. (известны

лишь два экземпляра этого издания — в Государственной Публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина и в ИРЛИ (Пушкинском Доме) в Ленинграде) интересующее нас слово напечатано с *ять* (с. 74).

Подобное написание подтверждено и Словарем Даля, который (вероятно, по памяти) к слову *Календарь* привел в числе примеров: «Врут все календари!» с *ять*. Такое же произношение в третьей части «Бесов» Достоевский вкладывал в уста Николая Ставрогина (Русский вестник. 1872. № 12. С. 109; см. также отдельное издание романа. СПб., 1873. С. 87).

В ставшем почти нормативным издании «Ходячие и меткие слова» М. И. Михельсона (2-е изд. СПб., 1896) находим то же самое. Впрочем, Н. С. Ашукин и М. Г. Ашукина в аналогичном сборнике нашего времени (Крылатые слова. М., 1955; 1960; 1966) указывают, что написание *ять* неверно, хотя и признают, что такова традиция сценического произношения.

Когда укоренилось написание и чтение *ё*, сказать трудно: для ответа на этот вопрос надо исследовать всю традицию копий и печатных изданий комедии. Большая часть публикаций советского периода, начиная с выхода комедии под редакцией К. И. Халабаева и Б. М. Эйхенбаума (1923), печатает *ё*. Такое же чтение принято в изданиях серий «Библиотека поэта» и «Литературные памятники».

Смысловый анализ не может быть в данном случае достаточно убедителен. Все же обратим внимание на оттенки. При чтении *ссё* дискредитируются любые показания календарей, а в комедии реплика Хлёстовой носит строго конкретный характер; спор идет лишь по одному вопросу. Правдоподобно, что именно этот ограниченный характер аутентичен.

Направшивается предположение, что источник написания *ё* в описке нетвердого в орфографии писаря. Буква *ять*, как это видно по мемуарам и другим данным, доставляла немалые затруднения. И. А. Шляпкин в издании первого тома Полного собрания сочинений А. С. Грибоедова в 1889 году заметил, что в порче текста немалая вина лежит на переписчиках и в этом «причина происхождения массы вариантов» (Т. II. С. 523). У Тургенева в рассказе «История лейтенанта Ергунова», где действие отнесено к концу первой четверти XIX века, читаем: «(Ергунов) строчил и переписывал набело рапорт к начальству, немилосердно путая буквы *ять* и *ё*(...)» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч.: В 30 т. М., 1981. Т. 8. С. 20).

Грибоедов, вероятно, знал правила орфографии достаточно твердо, но писарские концы «Горя от ума» он просматривал небрежно и легко мог пропустить инописание.

Нельзя не заметить, что против письма и чтения *е* (*ять*) никто из современников не протестовал — значит, считалось это написание правильным.

Описка писаря была утверждена авторитетом Н. К. Пиксанова во втором томе академического Полного собрания сочинений А. С. Грибоедова, вышедшем в 1913 году, и надолго (до наших дней) укоренилась.

Бодрый или добрый?

Все — от мала до велика — с юных лет и на всю жизнь, знают страстный монолог Чацкого в 22-м явлении третьего действия комедии «Горе от ума»:

Чтоб умный, бодрый наш народ
Хотя по языку нас не считал за немцев.

В большинстве изданий нашего времени третье слово первой строки печатается именно так. Правильно ли это?

Известен другой вариант: «Чтоб умный, добрый наш народ...» Его обычно произносят со сцены, печатают и в некоторых изданиях.

Показания трех основных рукописных списков таковы: в Музейной и в Яндровской рукописях стоит *бодрый*, в Булгаринской — *добрый*. Слово это в написании Грибоедова неизвестно. В печатном тексте альманаха «Русская Талия на 1825 год» — *бодрый*, но не забудем, что Грибоедов не имел касательства к этой публикации и к какому источнику восходит этот текст — неясно.

Издания 1833, 1839, 1854, 1858, 1860, 1862, 1889, 1908 гг. и др. неизменно дают *добрый*. В анонимном издании находим — *бодрый* (С. 76). М. И. Михельсон пишет *добрый* (С. 41).

Вдумаемся в смысл того и другого эпитета. Что такое *добрый*, понятно без объяснения. О том, что это качество присуще русскому народу, тоже едва ли надо спорить. Но что такое *бодрый*? Значение слова ясно, но применение его к русскому народу не очень уместно. *Бодрый* никогда не фигурировал в качестве индивидуального признака русского народа: можно подумать, что есть на земле народ, к которому неприменим этот эпитет!..

Обратим внимание на то, что оба слова в значительной части схожи. Оба состоят из одинакового количества одинаковых букв: вторая, четвертая, пятая и шестая полностью совпадают. Первая и третья разнятся только местами: переставить их — одно слово превратится в другое.

Автор «Горя от ума» написал, надо думать, нечто вполне осмысленное и ему близкое, то есть *добрый*. Что же произошло

дальше? Перестановка первой и третьей буквы скорее всего впервые была сделана по небрежности писаря: он, за редкими исключениями, не вдумывался в смысл копируемого и не обязан был это делать. Вероятно, перед ним лежал список, где слово *добрый* начиналось с *Ѣ* верхнего написания (*б* возможно только верхнего). Рисунок обеих букв очень схож: после овального начертания нижней части — небольшой полукруг мог пойти вправо и вверх — получалось *б*, мог повернуть вверх и влево — перед нами *Ѣ*. У самого Грибоедова, как кажется, чаще встречается *Ѣ* нижнего начертания. Просмотр списков комедии показал, что оба типа написания представлены в них приблизительно в одинаковой мере. Наблюдения над современным Грибоедову письмом свидетельствуют, что в русской графике были равно распространены и верхнее и нижнее *Ѣ*. Иногда попадается и более архаическое письмо с пижим *Ѣ*, но подстрочная линия идет прямо вниз, а потом делает небольшое кольцо (или петлю) вправо, напоминая нижнюю часть латинского Z. Обильный материал на эту тему можно найти в факсимильном издании следственного дела Грибоедова (Щеголев П. Е. А. С. Грибоедов и декабристы. По архивным материалам. СПб., 1905).

Писарь совершил ошибку, а его коллеги бездумно подчинились гипнозу первого прочтения (текстологу хорошо известному). Так, при не критической переписке *добрый* превратился в *бодрый*, а автор, как известно, смотрел и правил текст очень невнимательно: сверка копии с оригиналом вообще не производилась.

Возможно и другое объяснение. Писарь копировал текст с голоса. Именно так в канцелярии военно-счетной экспедиции А. А. Жандра, в этом своеобразном скриптории, один или несколько писарей не вполне внятно слышали близко звучащее к *добрый* слово. Путаница усугублялась тем, что оба звука одного образования — звонкие, взрывные. В диктанте написали то, что почудилось. У нас нет сведений, как происходило копирование множества других списков. Но Жандр ясно указывает: «У меня была под руками целая канцелярия; она списала «Горе от ума» и обогатилась, потому что требовали множество списков» (Смирнов Д. А. К биографии Грибоедова // Исторический вестник. 1909. № 4. С. 153). Еще категоричнее пишет Д. И. Завалишин в воспоминаниях о Грибоедове (Древняя и новая Россия. 1879. № 4. С. 314) — «под общую диктовку».

Для печатных изданий кто-то, готовивший текст, критически осмыслил это место и напечатал *добрый*, устранив случайно возникшее *бодрый*. Так из опечатки, по досадному недосмотру, на много лет возникла традиция двух разных слов в разных изданиях.

Комментаторы, отставившие *бодрый*, ссылаются на Державина, который писал, что русский народ «в несчастии бодр» (Гимн лироэпический) и что это — «бодрственный народ(...)» (Вельможа). Им естественно противопоставить цитату из дневника Н. И. Тургенева от 21 июня 1819 года: «Неужели славный, умный, добрый народ никогда не возвысится до истинного своего достоинства?» (Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева за 1816–1824 годы. Пг., 1921. Т. 3. С. 197).

Конечно, дневников Н. И. Тургенева Грибоедов не знал, но, как видим, оборот *добрый народ* бытовал как раз в пору создания «Горя от ума»: слова Чацкого звучат почти цитатой.

Еще одним веским доказательством может служить утверждение Пушкина, содержащееся в его статье 1830 года «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году»: «Добрый наш народ, бояре, козаки, монахи, буйные шиши — все это угадано(...)» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М.—Л., 1949. Т. XI. С. 92). Сошлёмся также на письмо Н. М. Коншина Пушкину, отосланное в августе 1831 года: «Как свиреп в своем ожесточении добрый народ русской!» (там же, т. XIV, с. 216). Наконец, любопытное свидетельство принадлежит Марии Волконской, которая в своих мемуарах писала: «(...)уместно упомянуть, как правительство ошибается относительно нашего доброго русского народа» (Волконская М. Н. Записки. СПб., 1914. С. 74); во французском оригинале Записок стоит: «notre bon peuple russe» (С. 126). Некоторые колебания в употреблении эпитетов *добрый* и *бодрый* отражены в различных списках стихотворения А. Ф. Воейкова «Дашкову» (1814) (Кибальник С. А. Из предыстории «Арзамаса» // Русская литература, 1986. № 3. С. 120–121).

Итак, перед нами — устойчивое словосочетание, привычное в грибоедовское время во фразеологии эпохи. Допустимо предположение, что перед нами описка длиной в сто шестьдесят пять лет.

Не пора ли восстановить правильное чтение?

Ленинград

В порядке уточнения

С. А. Фомичев,
доктор филологических наук

Статья известного текстолога С. А. Рейсера касается, казалось бы, двух частных случаев в трактовке грибоедовского текста. Но в них можно увидеть и продолжение старого спора об авто-

ритетности дошедших до нас основных источников текста «Горя от ума».

Таких источников, как известно, три:

Прежде всего это рукопись ранней редакции комедии, известная в науке под названием *Музейный автограф* (хранится в Государственном Историческом музее в Москве). Вся она, за исключением строк 413–415, 422–425 первого действия и строк 562–636 третьего действия, написана рукою Грибоедова; фрагменты, внесенные рукою переписчиков, составляют лишь 4,2% от всего состава текста. По своему характеру это беловой автограф с поправками самого автора. Рукопись в мае 1824 года была оставлена в Москве у С. Н. Бегичева перед отъездом Грибоедова в Петербург. С собой драматург взял, как вполне очевидно, ее копию, в которой продолжил работу над комедией, — ныне утраченную.

Окончательная редакция произведения запечатлена в так называемом *Жандровском* списке. Он был изготовлен переписчиком, но и здесь Грибоедов отчасти еще правил текст: рукою автора вписано, вычеркнуто, исправлено свыше ста строк, не считая множества отдельных буквенных поправок. Таким образом, мы имеем авторизованный список окончательной редакции комедии, в высшей степени авторитетный источник ее текста. Правда, ряд неточностей копииста Грибоедов не отметил, так как правил текст не по-корректорски, а лишь внося новые, пришедшие на ум смысловые варианты, помечая попутно — наверное, чисто механически — бросившиеся в глаза мелкие ошибки (нарушение орфографии, пропуски букв).

Имеется также так называемый *Булгаринский* список комедии, изготовленный переписчиком, но с авторской надписью на титульном листе: «Горе мое поручаю Булгарину. Верный друг Грибоедов. 5 июня 1828». В списке сделаны отдельные мелкие поправки (но большей части, по выскобленному тексту), — как правило, неавторские. Но авторитетность этому списку придаст не только дарственная надпись, но и совпадение его текста с текстом *Жандровского* списка, за исключением десятка строк, различающихся словами или порядком слов.

Из приведенного перечня основных источников текста вполне очевидно, что из них за основной — при публикации комедии — следует брать *Жандровский* список, наиболее полно отражающий авторскую волю. Текст здесь представлен в последней редакции и выправлен самим драматургом.

Такой выбор научно обоснован в 1913 году Н. К. Пиксановым, напечатавшим по *Жандровскому* списку комедию «Горе от ума» во втором томе академического Полного собрания сочинений

А. С. Грибоедова. Однако к этому времени уже существовала многолетняя традиция изданий пьесы, основанная на многочисленных неавторизованных ее списках (в настоящее время их известно около 1000), каждый из которых не был застрахован от ошибок переписчиков. И после академического издания было принято несколько попыток «уточнения» текста комедии — в изданиях под редакцией П. П. Гнедича (Петербург, 1919), В. Л. Бурцева (Париж, 1919), Е. А. Ляцкого (Стокгольм, 1920), И. К. Ениколопова (Тбилиси, 1978). Каждый из них выдвигал разные основания для пересмотра грибоедовского текста, ссылаясь то на театральную практику произнесения тех или иных реплик, то на необходимость частичного возвращения к ранней редакции комедии, то на данные неавторизованных списков, то, наконец, на гипотетическое продолжение работы драматурга над комедией в последние годы его жизни. Все эти соображения нельзя признать основательными, что убедительно показано в книге Н. К. Пиксапова «Творческая история „Горя от ума“» (М., 1971).

Выше уже упоминалось, однако, о том, что некоторые ошибки переписчика в Жандровском списке не были исправлены Грибоедовым. Но такие случаи достаточно хорошо корректируются при контрольном обращении к Музейному автографу и Булгаринскому списку. Если же во всех трех источниках мы имеем одинаковый текст, дальнейший разговор о его «исправлении» следует признать беспочвенным. Вполне основательным можно считать и совпадение двух первых источников текста, даже если третий (Булгаринский список) — дает иное чтение: дело здесь, конечно, не просто в арифметическом подсчете (два против одного), а в том, что последний наименее авторизован и наличие в нем мелких ошибок переписчика, не отмеченных автором, более вероятно.

Рассмотрим с этой точки зрения строки, о которых идет речь в статье С. А. Рейсера.

«Все врут календари» — так в Музейном автографе и в Жандровском списке; в Булгаринском с *яль* — «всь». Думаю, что вполне уверенно можно предположить чтение *всѣ*. Недаром именно оно избрано в издании «Горя от ума» под редакцией К. И. Халабаева и Б. М. Эйхенбаума (Пг., 1923), которые ориентировались в основном на Булгаринский, а не на Жандровский (в отличие от Н. К. Пиксапова) список, но в каждом случае расхождения последних дополнительно проверяли тот или иной вариант по Музейному автографу.

Грибоедов был грамотен в написании ъ. В Музейном автографе читаем: «А кто в звѣздах не всѣ богате», «Под пару всѣ ему поддѣлаться успѣли», «Скончался: всѣ о нем прискорбно помина-

ют» и т. п., но «Хотя животные, а всё-таки цари», «Все (то есть *всё*) это заговор (...)».

В Жандровском списке Грибоедов, исправляя попавшиеся ему на глаза ошибки переписчика, пометает «в чем» (было: «в чѣм»), «бѣден» (было: «беден»), «смѣшенье» (было: «смешенье»), «Сѣвер» (было: «Север»), «всѣ врозь» (было: «все») и пр. Между прочим, не все эти исправления отмечены в печатном издании Жандровского списка (М., 1912), использованном в соответствующих примерах, приведенных С. А. Рейсером.

Таким образом, чтение «Всѣ врут календари» можно признать наиболее корректным. Между прочим, рассмотренный случай помогает обратить внимание и на другие аналогичные грибоедовские строки, правильно их прочесть: «Ведь столбовые всѣ, в ус никого не дуют», «Поют всѣ пѣснь одну и ту же», «Как будто всѣ еще мнѣ объяснить хотят» (в Жандровском списке во всех этих случаях твердо *с*, а не *ѣ*), но «Все более меня», «Чиновные и должностные Все сѣ друзья и все родные», «Старушки все; народ сердитый» (везде *ѣ*).

Что касается второй из рассмотренных С. А. Рейсером строк, то она во всех трех основных источниках текста написана одинаково: «Чтоб умный, *бодрый* наш народ» (курсив наш. — С. Ф.). И хотя в подавляющем большинстве неавторизованных списков здесь встречаем *добрый*, нет никаких оснований на них опираться. Следует иметь в виду, что при переписке большого текста копиист автоматически заменял «неординарные» слова и выражения более привычными. Именно так пропикло в множество списков (а за ними — и в издания) комедии слово *добрый*, которое более привычно в подобном словосочетании, как это наглядно проиллюстрировано С. А. Рейсером. Однако для языка Грибоедова характерна иная ассоциация, закрепленная не только в его комедии. Так, в примечаниях к «Необыкновенным похождениям и путешествиям Дементия Иванова Цикулина» Грибоедов писал: «Представляем ее (рукопись — С. Ф.) нашим читателям как удивительный пример ума и решительности простого русского народа» (ср. толкование слова *бодрый* в «Словаре» В. И. Даля: *бойкий, живой, несонный, невялый; бдительный; смелый, мужественный; дюжий, здоровый; сильный; осанистый, видный, молодцеватый*). Именно в таком духе составлена юной вдовой эпитафия на могиле Грибоедова: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской...»

В заключение считаю необходимым подчеркнуть, что новая проверка тех или иных установленных в науке принципов всегда полезна. В том числе, несомненно, и в текстологической науке, общественная ответственность которой особо велика. Ведь при ее

посредстве до нас доносится голос ушедшего из жизни писателя. Живой, неискаженный.

Ленинград

Рисунок Н. Беланова

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«В последнее время в местной печати стали писать Белгородчина, а не Белгородщина. Почему? И еще вопрос: „Белгородская правда“ — орган Белгородского обкома КПСС и областного Совета народных депутатов. Почему Белгородского, а не Белгородских?»

А. Ф. Смоликов, *Белгород*

Существительные с суффиксом *-щин(а)*, *-чин(а)* — названия областей и территорий СССР — непосредственно мотивируются прилагательными с суффиксом *-ск* (брянский — *Брянщина*). При образовании таких существительных суффикс *-ск* опускается. К оставшейся части основы прилагательного присоединяется суффикс *-чин(а)*, если она оканчивается на /*д*/ или /*т*/; суффикс *-щин(а)* выступает после всех остальных согласных. Например: новгородский — Новгород+чина, брестский — Брест+чина, белгородский — Белгород+чина, но: орловский — Орлов+щина, гродненский — Гроднен+щина.

Определение *Белгородский* относится и к существительному *обком* и к существительному *Совет*. Есть правило: определенное, относящееся к двум или нескольким существительным — однородным членам, ставится в форме единственного числа, если по смыслу сочетания ясно, что оно относится не только к ближайшему существительному, но и к последующим: *школьная успеваемость и дисциплина*; *советская печать, радио и телевидение*. Поэтому и *Белгородский* употреблено в форме единственного числа.

„Дойти до самой сути...“

Номинативные предложения в поэзии М. Цветаевой

А. А. Буров,

кандидат филологических наук



ПОЭТИЧЕСКАЯ речь Марины Цветасвой по самому высокому счету образа и неповторима. Напряженность фразировки, гибкость ритмики, варьирование интонаций, россыпи неожиданных метафор — все это «отражает душевное состояние поэта со стремительной непосредственностью переживаемой минуты» (Рождественский Вс. Марина Цветаева.— В кн.: Цветаева Марина. Сочинения: В 2 т. М., 1980. Т. 1. С. 17; стихотворные примеры приводятся по этому изданию).

Цель этих заметок — показать роль номинативных (назывных) предложений в своеобразной организации стихотворных текстов Цветаевой. Но прежде напомним, что в номинативных пред-

ложениях главный член «оформлен как подлежащее и обозначает предмет, характерный для передаваемой ситуации». Таким предложением «свойственна фрагментарность и одновременно большая емкость выражаемого содержания» (Скобликова Е. С. Современный русский язык. Синтаксис простого предложения. М., 1979. С. 130). В сочетании с второстепенными членами, сравнениями, обособлениями и т. д. они способны не просто назвать явление, но представить его внутреннюю динамику. При этом выявляются наиболее важные, выразительные, с точки зрения автора, детали обозначаемого, с помощью которых читатель наилучшим образом может воссоздать общую картину изображаемых событий.

Обратимся к стихотворению «Рельсы», написанному Цветаевой в первые годы эмиграции:

В некой разлинованности нотной
Нежась наподобие простынь —
Железнодорожные полотна,
Рельсовая режущая синь!

Пушкинское: сколько их, куда их ·
Гонит! (Миновало — не поют!),
Это уезжают-покидают,
Это остывают-отстают.

Это — остаются. Боль, как нота
Высящаяся... Поверх любви
Высящаяся... Женою Лота
Насыщью застывшие столбы...

Час, когда отчаяньем, как свахой,
Простыни разостлавы. — Твоя! —
И обезголосившая Сафо
Плачет, как последняя швея.

Плач безропотности! Плач болотной
Цапли... Водоросли — плач! Глубок
Железнодорожные полотна
Ножницами режущий гудок.

Первое номинативное предложение (*В некой разлинованности...*) — это пролог, вызывающий воспоминания, начало раздумий поэта. *Рельсы* представляются Цветаевой символом той нити, которая еще связывает ее с родиной, со всем, что дорого сердцу на русской земле. Следующая номинативная конструкция (*Пушкинское...*) — нескрываемая реминисценция из пушкинских «Бесов» — будит мысль о неестественной, непонятной силе, заставившей покинуть родную землю — и тем трагичнее! — родину самого близкого душе человека — Пушкина. Выстроенный затем ряд эмоционально окра-

шенных номинаций (*Боль, как нота... и др.*) выражает переживания лирического героя стихотворения, — своеобразные номинации-«вздохи». И, наконец, — итоговая оценка-самоприговор (*Плач безропотности!*). Как видим, использование номинативных предложений может сыграть важную роль не только в обозначении явлений окружающей действительности, но и в организации поэтического текста.

Очень часто Цветаева употребляет номинативное предложение в самом начале текста (номинация-зачин), а затем повторяет его, варьируя форму, используя синонимические конструкции и тем самым выявляя новые признаки обозначаемого. Как, например, в стихотворении «Ночь»:

Час обнажающихся верховий,
Час, когда в души глядишь — как в очи.
Это — разверстые шлюзы крови!
Это — разверстые шлюзы ночи!

Хлынула кровь, наподобье ночи,
Хлынула кровь, — наподобье крови
Хлынула ночь! (Слуховых верховий
Час: когда в уши нам мир — как в очи!)

Зримости сдернутая завеса!
Времени явственное затишье!
Час, когда, ухо разъяв, как веко,
Больше не весим, не дышим: слышим.

Мир обернулся сплошной ушною
Раковиною: сосуцей звуки
Раковиною, — сплошной душою!..
(Час, когда в души идешь — как в руки!)

В данном случае интерес представляет не столько прямое развертывание обозначения, сколько косвенно-характеризующее, через текст определительного придаточного (*когда в души глядишь... и следующие*), которое образует тесное смысловое и функциональное единство со словом *час* — основой прямой номинации.

Для поэтического языка Цветаевой характерно употребление цепи номинативных предложений, «звенья» которой вступают между собой в определенные отношения — например, в синонимические (ср. употребление конструкций *Зримости сдернутая завеса!* / *Времени явственное затишье!* в стихотворении «Ночь»).

В других случаях цепь номинативных предложений усиливает эмоциональное звучание стиха, повышает его выразительность: «Так писем не ждут, / Так ждут — письма. / Тряпичный лоскут, / Вокруг тесьма / Из клея. Внутри — словцо. / И счастье, — И это — все».

В приведенном отрывке из стихотворения «Ночь» обилие номинаций, наличие повтора, напряженный синтаксис — все это не самоцель, а точно найденные художественные средства.

Как нетрудно убедиться, насыщение текста номинативными конструкциями может быть вызвано решением определенных художественно-изобразительных задач. Вот как Цветаева, выражая чувство трагического одиночества, использует их в качестве развернутых метафор аллегорического характера в стихотворении «Седые волосы»:

Это пеплы сокровищ;
Утрат, обид.
Это пеплы, пред коими
В прах — гравит.

Голубь голый и светлый,
Не живущий четой,
Соломоновы пеплы
Над великой тщетою,
Беззакатного времени
Грозный мел. (...)

Применение подобных экспрессивно-насыщенных номинативных предложений весьма характерно для периода заграничного творчества Цветаевой — времени, проникнутого страшной, унылой безысходностью, глубокой ностальгией.

Функциональное своеобразие номинативных предложений ярко проявляется при создании портрета лирического персонажа. В романтически приподнятых, возвышенных тонах рисуется, например, облик «юной бабушки» — Марины Цветаевой в стихотворении «Бабушке»:

Продолговатый и твердый овал,
Черного платья раструбы...
Юная бабушка! — Кто целовал
Ваши надменные губы?

Руки, которые в залах дворца
Вальсы Шопена играли...
По сторонам ледяного лица —
Локоны, в виде спирали.

Темный, прямой и взыскательный взгляд,
Взгляд, к обороне готовый.
Юные женщины так не глядят,
Юная бабушка, кто вы?

Тонкий мастер портрета, Цветаева умеет не просто привести в движение детали внешности своей модели (что само по себе уже признак высокой художественности!), но и передать через них сложные нюансы собственных переживаний. Портретная зарисовка «юной бабушки» вырастает из внутреннего диалога поэта с героиней, и выразительные авторские номинации создают своеобразное чередование ритмов.

Набор иных изобразительных черт и деталей портрета — и возникает развернутая авторская характеристика лирического героя, целостный художественный образ. Вот как говорит Цветаева о своем муже Сергее Эфроне — человеке сложном, противоречивом, с которым связаны сильные и — не менее! — сложные и противоречивые чувства:

О всеми ветрами
Колеблемый лотос!
Георгия — робость,
Георгия — кротость...

Очей непомерных
— Широких и влажных —
Суровая — детская — смертная важность,

Так смертная мука
Глядит из тряпья.
И вся непомерная
Тяжесть копья.

Не тот — высочайший,
С усмешкою гордой:
Кротчайший Георгий,
Тишайший Георгий.

Горчайший — свеча моих бдений — Георгий,
Кротчайший — с глазами оленя — Георгий!

(Трепещущей своре
Простивший олень.)
— Которому пробил
Георгиев день.

О лотос мой!
Лебедь мой!
Лебедь! Олень мой!

Георгий (7)

Структурно осложняясь, насыщаясь экспрессивно окрашенной лексикой, интонационно «дробясь», наслаиваясь одна на другую, номинативные конструкции в приведенном контексте выражают то сравнение, то оценку, то просто восклицание, а в целом же несут слож-

ную эмоциональную нагрузку. Возникает образ в его внутренней динамике, отражающей движение чувств самого автора.

У Цветаевой номинативные предложения передают и внутреннюю динамику ситуации. Вот как поэт варьирует лексический состав предложения в зачатке поэмы «Лестница»:

Короткая ласка
На лестнице тряской.
Короткая краска

Лица под замазкой.
Короткая — сказка:
Ни завтра, ни здравствуй.

Короткая схватка
На лестнице шаткой,
На лестнице падкой.

В доме, где по почам не спят,
Каждая лестница водопад —
В ад...

Как бы выхваченный из темноты цепким авторским взглядом ряд очень зримых, осязаемых поэтических кадров постепенно вызывает ощущение цельного восприятия ситуации, более того — сопричастности изображаемому. Воссоздавая картину, поэт обращает внимание на детали, которые наиболее сильно воздействуют на читателя. Нарушая привычную, устоявшуюся подачу фразы, расставляя авторские акценты, Цветаева, таким образом, предлагает собственное «прочтение» ситуации, отражаемого явления. Эти примеры подтверждают верность поэта своему эстетическому кредо: «Я не верю стихам, которые льются. Рвутся — да!»

Художник яркий и неповторимый, М. Цветаева на своем нелегком и подчас тернистом пути познания мира и человека стремилась, как сказал Б. Пастернак, «во всем (...) дойти до самой сути». В поиске нестандартных, образных форм выражения поэтической мысли ей открывались совершенно неожиданные краски и полутона словесных воплощений. В свою очередь широкое использование номинативных предложений закономерно наделяло стихотворную речь Цветаевой внутренним динамизмом, смысловым и экспрессивно-стилистическим разнообразием.

Пятигорск

Рисунок Б. Захарова

Фельетоны М. А. Булгакова

Из множества фельетонов М. А. Булгакова (1891–1940), опубликованных в газетах 1920-х гг., советскому читателю до сих пор известны лишь считанные единицы, переизданные в последние годы (см. Булгаков М. Самоцветный быт. М., 1985). Фельетоны, перепечатываемые нами из газеты «Гудок» (24 июля 1924, 15 января 1925), помимо несомненных литературных достоинств и осязаемой поныне актуальности, представляют особый интерес как своеобразные лингвистические эксперименты.

В фельетоне «Глав-полит-богослужение» урок политграмоты и богослужение проходят в смежных помещениях, и церковнославянская лексика парадоксальным образом сталкивается с языком революционных лозунгов.

Многоголосая речь железнодорожников, жалующихся на свои беды, подавляется гладкими, обтекаемыми, но совершенно бессодержательными фразами, внесенными в написанный заранее протокол собрания («Гениальная личность»).

ГЛАВ-ПОЛИТ- БОГОСЛУЖЕНИЕ

Копотопский уисполком по договору от 23 июля 1922 г. с общиной верующих поселка при ст. Бахмач передал последней в бессрочное пользование богослужебное здание, выстроенное на полосе железнодорожного отчуждения и пристроенное к принадлежащему Зап. ж. д. зданию, в коем помещается жел.-дорожная школа.

...Окна церкви выходят в школу.

(Из судебной переписки)

Отец дьякон бахмачской церкви, выходящей окнами в школу, в конце кощов не вытерпел и падрызгался с самого утра в день Параскевы Пятницы и, пьяный, как зонтик, прибыл к исполнению служебных обязанностей в алтарь.

— Отец дьякон! — ахнул настоятель, — ведь это что же такое? ..Да вы гляньте на себя в зеркало: вы сами на себя не похожи!

— Не могу больше, отец настоятель! — взвыл отец дьякон, — замучили окаянные. Ведь это никаких нервов не хва... хва... хватит. Какое тут богослужение, когда рядом в голову зудят эту грамоту.

Дьякон зарыдал, и крупные, как горох, слезы поползли по его носу.

— Верите ли, вчера за всеобщей разворачиваю тресбник, а перед глазами огненными буквами выскакивает: «Религия есть опиум для народа». Тьфу! Дьявольское наваждение. Ведь это ж... ик... до чего ж доходит? И сам не заметишь, как в кам... ком... му... пистическую партию уверуешь. Был дьякон и ау, нету дьякона! Где, спросят добрые люди, наш милый дьякон? А он, дьякон... он в аду... в гигиене огненной.

— В геенне, — поправил отец настоятель.

— Один черт, — отчаянно молвил отец дьякон, криво влезая в стихарь, — одолел меня бес!

— Много вы пьете, — осторожно намекнул отец настоятель, — оттого вам и мерещится.

— А это мерещится? — злобно спросил отец дьякон.

— Владыкой мира будет труд!! — донеслось через открытые окна соседнего помещения.

— Эх, — вздохнул дьякон, завесу раздвинул и пророкотал:

— Благослови, владыка!

— Пролетарию нечего терять, кроме его оков.

— Всегда, пыле и присно и вовеки веков, — подтвердил отец настоятель, осеняя себя крестным знаменем.

— Аминь! — согласился хор.

Урок политграмоты кончился мощным пением Интернационала и ектении:

— Весь мир насилья мы разрушим до основания! А затем...

— Мир всем! — благодушно пропел настоятель.

— Замучили долгогривые, — захныкал учитель политграмоты, уступая место учителю родного языка, — я — слово, а они — десять!

— Я их перешибу, — похвастался учитель языка и приказал:

— Читай, Клюкин, басню.

Клюкин вышел, одернул пояс и прочитал:

— Попрыгунья стрекоза

Лето красное пропела,

Оглянуться не успела...

— Яко спаса родила!! — грянул хор в церкви.

В ответ грохнул весь класс и прыснули прихожане.

Первый ученик Клюкин заплакал в классе, а в алтаре заплакал отец настоятель.

— Ну их в болото,— ошеломленно хихикая, молвил учитель,— довольно, Клюкин, садись, пять с плюсом.

Отец-настоятель вышел на амвон и опечалил прихожан сообщением:

— Отец дьякон заболел внезапно и... того... богослужить не может.

Скоропостижно заболевший отец-дьякон лежал в приделе алтаря и бормотал в бреду:

— Благочестив... самодержавнейшему государю наше... замучили проклятые!..

— Тиш-ша вы,— шипел отец-настоятель,— услышит кто-нибудь, беда будет.

— Плевать...— бормотал дьякон,— мне нечего терять... ик... кроме оков.

Аминь! — спел хор.

Примечание «Гудка»: В редакции получен материал, показывающий, что дело о совместном пребывании школы и церкви в одном здании тянется уже два года. Просьба всем соответствующим учреждениям сообщить, когда же кончится это невозможное сожительство?



ГЕНИАЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ

Секретарь участка, присутствовавший на общем собрании членов союза на ст. Переездная Донецких железных дорог, ухитрился заранее не только заготовить резолюции для собрания, но даже записать его протокол.

Все были поражены такой гениальностью секретаря.

Рабкор ГВОЗДЬ

Секретарь участка сидел в зале вокзала и грыз перо. Перед секретарем лежал большой лист бумаги, разделенный продольной чертой. На левой стороне было написано: «Слушали», на правой:

«Постановили». Секретарь вдохновенно глядел в потолок и бормотал:

— Итак, стало-быть вопрос о спецодежде. Верно я говорю, товарищи. Совершенно верно! — сам себе ответил секретарь хором. — Правильно! Потому: слушали, а слушав, постановили... — Секретарь макнул перо и стал скрести: — Принять всесторонние меры к выдаче спецодежды без перебоев, снабжая спецодеждой в общем и целом каждого и всякого. Принимается, товарищи? Кто против? — спросил секретарь у своей чернильницы.

Та ничего не имела против, и секретарь написал на листе: «Принято единогласно». И сам же себя похвалил: — Браво, Макушкин!

— Таперича, что у нас на очереди? — продолжал секретарь. — Касса взаимопомощи: ясно, как апельсин. Ну, в кассе денег нет, это — ясно, как апельсин. И как апельсин же ясно, что ссуды вовремя не возвращают. Стало-быть, слушали о кассе, а постановили «Всемерно содействовать развитию кассы взаимопомощи, целиком и полностью привлекая транспортные низы к участию в кассе, а равно и принять меры к увеличению фонда путем сознательного и своевременного возвращения ссуд целиком и полностью!» Кто против? — победоносно спросил Макушкин.

Ни шкаф, ни стулья не сказали ни одного слова против, и Макушкин написал: «Единогласно».

Открылась дверь, и вошел сосед.

— Выкатывайся, — сказал ему Макушкин, — я занят: протокол собрания пишу.

— Вчерашнего? — спросил сосед.

— Завтрашнего, — ответил Макушкин.

Сосед открыл рот и так с открытым ртом и ушел.

2

Зал общего собрания был битком набит, и все головы были устремлены на эстраду, где рядом с графином с водой и колокольчиком стоял тов. Макушкин.

— Первым вопросом повестки дня, — сказал председатель собрания, — у нас вопрос о спецодежде. Кто желает?

— Я, я... я... я... — двадцатью голосами ответил зал.

— Позвольте, товарищ, мне, — музыкальным голосом попросил Макушкин.

— Слово предоставляется т. Макушкину, — почтительно сказал председатель.

— Товарищи, — откашлявшись, начал Макушкин и заложил

пальцы в жилет,— каждому созпательному члену союза известно, что спецодежда является необходимой...

— Правильно!! В июне валенки выдавали! — загремел зал.

— Попрошу не перебивать оратора,— сказал председатель.

— Поэтому, дорогие товарищи, необходимо принять всесторонние меры к выдаче спецодежды без перебоев.

— Верно! Bravo! — закричал зал.— Парусиновые штаны прислали в январе!!

— Ти-ше!

— Предлагаю ораторам не высказываться, чтобы не терять времени,— сказал Макушкин,— а прямо приступить к обсуждению резолюции.

— Кто имеет резолюцию? — спросил председатель, сбиваясь с пути.

— Я имею,— скромно сказал Макушкин и мгновенно огласил резолюцию.

— Кто против? — сказал изумленный председатель.

Зал моментально и единодушно умолк.

— Пишите: при ни одном воздержавшемся,— сказал пораженный председатель секретарю собрания.

— Не пишите, товарищ, у меня уже записано,— сказал Макушкин, сияя глазами.

Общее собрание встало, как один человек, и впилося глазами в Макушкина.

— Центральный парень,— сказал кто-то восхищенно,— не то, что наши сиволапы!

Когда общее собрание кончилось, толпа провожала Макушкина по улице полверсты, и женщины поднимали детей на руки и говорили:

— Смотри, вон Макушкин пошел. И ты когда-нибудь такой будешь.

*Подготовил к печати
А. Л. Топорков*

Рисунки Н. Беланова

К 70-летию Декрета о введении
НОВОЙ ОРФОГРАФИИ



Октябрь и реформа русского правописания

В. Ф. Иванова,

доктор филологических наук

Г. Г. Тимофеева,

кандидат филологических наук

За семь десятилетий — небольшой для истории цивилизации срок — наша страна прошла огромный путь общественного прогресса. На этом пути было немало свершений социально-культурного значения, оказавших глубочайшее воздействие на развитие советского общества. В историческом процессе преобразований, в упорной борьбе за приобщение широких народных масс к культуре реформа русской орфографии, проведенная Советским правительством в 1917—1918 гг., была событием революционного масштаба.

Необходимость упрощения русского правописания (в связи с изменениями в языке, происшедшими в процессе его естественного развития, и упразднения некоторых букв алфавита, ставших излишними) была особенно очевидной в конце XIX века. В это время педагогические и научные круги выдвигали и обсуждали первые проекты орфографической реформы.

В 1904 году специально созданная комиссия Академии наук должна была выработать проект реформы русской орфографии. В ее состав вошли 55 человек: ученые, представители различных учебных заведений. Деятельность комиссии велась по двум направлениям — упразднение из русского алфавита некоторых букв и решение проблемы унификации правописания.

В связи с широким кругом вопросов, связанных с устранением колебаний и противоречий в русской орфографии, комиссия избрала из своего состава подкомиссию, в которую вошли академики А. А. Шахматов, Ф. Ф. Фортунатов, А. И. Соболевский и Ф. Е. Корш, профессора И. А. Бодуэн де Куртенэ и Р. Ф. Брандт, приват-доцент П. П. Сакулин и в качестве кандидатов в члены подкомиссии: проф. С. К. Булич, приват-доценты П. М. Каринский и П. К. Кульман.

В мае 1904 года было опубликовано «Предварительное сообщение орфографической подкомиссии». Речь шла об уничтожении некоторых букв алфавита и проекте нового правописания. Этот проект отвергли не только реакционные правительственные круги и консервативная печать, но и некоторые ученые, полагавшие, что усвоение русского правописания зависит не от его сложности и противоречивости, а от неправильных методов обучения, «ленивых учеников и плохих преподавателей». Работа по совершенствованию проекта реформы русской орфографии велась до 1912 года, когда в «Постановлениях орфографической подкомиссии» был представлен окончательный вариант проекта, но и он не был принят.

Вскоре после февральской революции при Академии наук была создана специальная подготовительная орфографическая комиссия об упорядочении правописания. Непосредственное участие в ее работе приняли академики Е. Ф. Карский, Н. К. Никольский, С. Ф. Ольденбург, В. Н. Перетц, А. А. Шахматов, А. И. Соболевский. Их проект был предложен для обсуждения на совещании по вопросу об упрощении русского правописания 11(24) мая 1917 года. В совещании участвовали члены подготовительной комиссии, Орфографической комиссии 1904 года, Отделения русского языка и словесности и разряда изящной словесности, представители ученых и просветительных учреждений, учителя школ. Председателем Совещания был академик А. А. Шахматов. Было принято «Постановление Совещания по вопросу об упрощении русского правописания». Академия наук утвердила это постановление, и тогдашнее Министерство просвещения циркуляром от 17 мая 1917 года предложило ввести в школах это реформированное правописание с нового учебного года.

Основу изменившегося правописания составил проект реформы, подготовленный орфографической подкомиссией 1912 года, однако некоторые пункты предлагавшихся нововведений в постановление Совещания не вошли. Так, в проекте 1912 года рекомендовалось отменить *ь* (мягкий знак) после шипящих в конце слов *рожь*, *ходишь*, *лишь*, *ночь*, *печь*, *вещь*, *помощь* и писать *рож*, *ходиш*, *ноч*, *печ*, *вещ*. В другом пункте содержалось предложение передавать

Блѣдно-сѣрый бѣдный бѣс
 Побѣжал поспѣшно в лѣс.
 С лѣшим по лѣсу он бѣгал,
 Рѣдкѣй с хрѣном пообѣдал
 И за бѣдный тот обѣд
 Дал обѣт не дѣлать бѣд.

Умение правильно употреблять букву *ѣ* было своеобразным признаком социального положения: отличало грамотного от неграмотного, дворянина от недворянина. Поэтому по вопросу отмены этой буквы велись особенно острые дискуссии.

Упразднение из русского алфавита заимствованной греческой *ѳ* было обусловлено одинаковым произношением звука, обозначаемого этой буквой и *ф*, и ненужностью употребления на письме разных букв для одного звука.

Условным было и разграничение в употреблении букв *и* и *і*, также обозначавших один звук.

Изменение традиционных церковнославянских окончаний *-аго*, *-яго* отражало стремление к единообразному написанию окончаний прилагательных, причастий и местоимений. Уже в XIX веке исконно русские формы на *-ого*, *-его* вытеснили *-аго*, *-яго* в ударных слогах. Сохранение на письме старых написаний только для безударных слогов (*добраго*, *котораго*, *волчьаго*, *синяго*) было признано нецелесообразным.

С утратой родовых различий во множественном числе местоимений, прилагательных и причастий связано изменение церковнославянских окончаний *-ыя*, *-ія* в формах среднего и женского рода на *-ые*, *-ие* (старое написание: *среднія учебныя заведенія*).

Новые написания *они*, *одни*, *одних*, *одними*, устранившие различия рода на письме, были более рациональными: они упрощали употребление местоимений. До реформы *они*, *одни* использовались для слов мужского и среднего рода, а *онѣ*, *однѣ* — женского: *Онѣ остались однѣ*. У А. С. Пушкина в «Сказке о царе Салтае»: «И завидуют оне [сестры] Государевой жене».

Таким образом, реформа 1917–1918 гг. сделала русскую орфографию более легкой для усвоения и применения. Подготовленная авторитетной комиссией, она была единственной реформой русского правописания, направленной на совершенствование его правил.

В условиях создания нового общества, основанного на принципах народовластия, орфографическая реформа была отражением процесса всеобъемлющей демократизации, провозглашенной Советской властью. Проведение ее в жизнь облегчалось тем, что традиции старого делопроизводства, законодательной деятельности, офи-

циальной печати и т. п. прекратили свое существование с началом Октябрьской революции.

Ленинград

Рисунок В. Леонова

Разноголосица русского письма XIX века

Р. И. Кочубей

Круг образованных людей в XIX веке, владевших пормой литературного языка, был довольно ограниченным. Роль французского языка в быту аристократии была настолько велика, что «даже очень крупные писатели прямо признавались в слабом своем обладании грамматикой, одинаково — теоретической и практической» (см.: Булаховский Л. А. Русский литературный язык первой половины XIX в. Киев. 1944. Т. 1). Г. О. Винокур по этому поводу писал в историческом очерке «Русский язык» (М., 1945): «Среди самых блестящих представителей русской культуры еще в первые десятилетия XIX в. можно указать много лиц, орфография которых с нашей, теперешней точки зрения, должна казаться безграмотной... Не случайно Карамзин жаловался, что даже в Москве „с величайшим трудом можно найти учителя для языка русского, а в целом государстве едва ли найдешь человек 100, которые совершенно знают правописание“. К концу века, вследствие значительного усиления общественной школы, положение стало уже другим».

На протяжении XIX века грамматические нормы еще только складывались. На отсутствие в русском литературном языке единой нормы, разноречивость отдельных грамматик указывал В. Г. Белинский в рецензии на «Грамматические разыскания» В. А. Васильева: «...грамматика полагается у нас в основание учению общественному и частному, — а между тем у нас нет решительно ни одной удовлетворительной грамматики! И как же бы могла она явиться у нас, когда теория языка русского почти не начата, и для грамматики, как систематического свода законов языка, не приготовлено никаких данных? (...) Каждый пишущий в России руковод-

ствуется своею собственною грамматикою; нововведениям, этимологическим, синтаксическим и орфографическим, нет числа и меры: всякий молодец на свой образец!»

При общей неупорядоченности русской грамматики не было единства и в русской орфографии. «Прекрасный наш язык, под пером писателей неученых и неискусных, быстро клонится к падению. Слова искажаются. Грамматика колеблется. Орфография, сия геральдика языка, изменяется по произволу всех и каждого», — писал А. С. Пушкин в статье «Российская Академия». Не было единообразного правописания в официальных документах, периодических изданиях, произведениях крупнейших писателей XIX века (даже одного и того же автора). «Посмотрите на русскую орфографию, что это такое! В этом отношении русский язык представляет собою странное исключение из общего правила: у нас столько же орфографий, сколько книг, сколько журналов, сколько литераторов, — и потому нет никаких орфографий» (Белинский В. Г. Рецензия на «Грамматические разыскания» В. А. Васильева).

Стремление к возможно большему упорядочению русского правописания, разумеется, существовало, и прежде всего у тех ученых, в центре внимания которых были грамматические интересы. Руководимые своим представлением о «правильном» письме, ученые создавали грамматики, включавшие иногда и некоторые орфографические указания. Однако единых принципов в правилах и рекомендациях по правописанию не было. Даже лучшие грамматики («практические», «начальные», «сокращенные» Н. И. Греча, а также А. Х. Востокова, И. И. Давыдова, Ф. И. Буслаева и др.) не способствовали установлению четких орфографических норм в литературном языке.

Авторы не давали какой-либо развернутой орфографической теории. Встречались различного рода общие суждения об орфографии, однако в целом она не была предметом особого рассмотрения. Грамматисты «не дали более или менее полного свода орфографических правил. Не могли они обосновать и многие принятые написания, а также объяснить многочисленные колебания в орфографии. Для этого нужно было предпринять специальное исследование» (Ивапова В. Ф. Современный русский язык. Графика и орфография. М., 1966). Изданные грамматики не могли устранить орфографический разнобой еще и потому, что не были утверждены как обязательные.

В связи с политическим подъемом в 50–60 годах XIX века круг людей, нуждавшихся в повышении грамотности, значительно

расширился, возросла общественная роль школы. До этого времени проекты усовершенствования орфографии исходили лишь от отдельных лиц, во второй половине XIX века движение в пользу упрощения письма приняло широкий общественный размах. В 1862—1863 годах в Петербурге по инициативе известного русского педагога В. Я. Стоюнина состоялось семь совещаний, посвященных вопросу об упорядочении правописания. Эти совещания можно считать первой в России орфографической комиссией, первой попыткой организованного обсуждения проблем русского правописания.

Наиболее существенной оказалась деятельность крупнейшего русского филолога акад. Я. К. Грота. В грамматических трудах этого ученого впервые была предпринята попытка системного изучения и описания русской орфографии. Его труд «Спорные вопросы русского правописания от Петра Великого доныне» (I изд.—1873) содержит историко-теоретическое освещение русской орфографической системы. Цель данного исследования состояла не в упрощении или реформировании правописания, а в том, «чтобы историческим путем уяснить мыслящему читателю настоящее состояние русской орфографии и способствовать к большему единообразию письма». Написанное на основе «Спорных вопросов» практическое руководство «Русское правописание» (I изд.—1885) выдержало более 20 изданий и стало официальным руководством для школы.

Высокую оценку орфографическим трудам Я. К. Грота дал академик В. В. Виноградов в статье «Русская наука о русском литературном языке» (1946): книга «Русское правописание» сыграла «большую роль в истории государственной стандартизации русского письма. Она вносила стройный порядок в орфографическую путаницу и разногласия русского письма XIX в. И если вводимые ею нормы правописания были недостаточно демократичны, все же ею впервые устанавливалась единая система русского правописания и устранялись мучительные орфографические штатания — наследие периода „вольности дворянства“ и неорганизованного, хаотичного обучения родному языку». Действительно, благодаря деятельности Я. К. Грота, русское правописание к концу века было приведено в определенную систему, единообразную настолько, насколько позволял язык и установившийся обычай письма. Но все же «широкие народные массы оставались по-прежнему неграмотными, а гротовская орфография была для человека средней степени культурности не очень проста и легка...» (Винокур Г. Русский язык).

В орфографической практике продолжал существовать большой разбой и стала особенно очевидной необходимость упрощения орфографии. Вопрос о реформе существующей системы правописания продолжал дебатироваться вплоть до реформы 1917 г.

СТРАНИЦА НОВЫХ СЛОВ

Госкомстат

В августе 1987 года Центральное статистическое управление СССР (ЦСУ СССР) было преобразовано в Государственный комитет СССР по статистике. В широкое употребление вошла новая аббревиатура — *Госкомстат* (официальное сокращенное название полного официального наименования). Вот первая информация, которая ввела в нашу речь новое слово:

«В Политбюро ЦК КПСС. Одобрено предложение о преобразовании Центрального статистического управления СССР в союзно-республиканский Государственный комитет СССР по статистике (Госкомстат СССР). Указано, что осуществление курса на перестройку, проведение радикальной реформы хозяйственного управления требуют качественно нового уровня работы статистических органов» (Правда, 1987. 7 авг.).

Новое сокращение как полноправное встало в ряд с аббревиатурами аналогичной морфологической структуры, также являющимися официальными наименованиями, такими, как *Госкомтруд*, *Госкомиздат*, *Госснаб*, *Госстрой*, *Госместпром* и мн. др., и потому была воспринята как хорошо и давно

известная. Внешняя форма новой аббревиатуры *Госкомстат* — имя существительное мужского рода на твердый согласный — совпадает с родовой принадлежностью стержневого слова сокращаемого словосочетания — *Государственный комитет по статистике* (комитет — имя существительное мужского рода). Поэтому совершенно закономерно, что с момента появления в речевом употреблении аббревиатура *Госкомстат* начинает последовательно склоняться: «Одна из важнейших новых функций Госкомстата — широкая публикация статистических данных для обеспечения гласности как основы развития демократии», «Госкомстату СССР предоставлено право контролировать выполнение министерствами, ведомствами, предприятиями и организациями нормативных актов по вопросам статистики и отчетности» (Правда, 1987. 11 авг.).

Произношение новой аббревиатуры также не вызывает никаких затруднений, поскольку и по написанию, и по звучанию *Госкомстат* совпадает с обычным цельюоформленным словом.

Г. И. Миськевич,
кандидат филологических наук

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ



ПРОБЛЕМА чистоты и богатства русского слова остро вставала в 20-е, 30-е годы перед литераторами, оказавшимися в силу различных обстоятельств в эмиграции. В Париже, который был интеллектуальным центром русской эмиграции, выходили русские газеты и журналы, издавались книги, писались романы и повести. Но как в оторванной от родины среде было сохранить первородство «великого и могучего» языка? Это был весьма болезненный вопрос. Русская зарубежная интеллигенция отчетливо сознавала, что родная речь оставалась для нее единственным духовным мостиком, связующим с Россией.

Среди тех, кто постоянно обращался в своем творчестве к этим проблемам, был Михаил Андреевич Осоргин (1878–1942), очутившийся на Западе осенью 1922 года в составе большой группы московской интеллигенции.

Сейчас разнообразное и ценное литературное наследие М. А. Осоргина возвра-

щается к нашему читателю — и это глубоко справедливо. В романах и повестях писателя запечатлены судьбы России и ее скромных героев в трудные годы революционных потрясений.

М. А. Осоргин был постоянным автором ежедневной парижской газеты «Последние новости». На ее страницах опубликовано немало его блестящих этюдов, посвященных «филологии русской души» — так называется один из его материалов. Крупный знаток русской словесности, тонкий стилист (европейская критика песлучайно именovala его «руссейшим» писателем), М. А. Осоргин решительно выступал против засорения языка иностранными словами, против пренебрежительного отношения к грамматике.

Думается, читателям нашего журнала будет любопытно познакомиться с небольшим полемическим циклом М. А. Осоргина «Слова и выражения», напечатанным в «Последних новостях» (1931, 28 декабря; 1932, 7 января, 3 февраля). В этом номере мы публикуем начало цикла. Не со всеми мыслями автора, вероятно, можно согласиться, некоторые замечания потеряли актуальность, но общий пафос заметок — страстное стремление отстаивать честь и достоинство родного языка — безусловно современен.

Слова и выражения

Мих. Осоргин

I

Недавно в газетах был напечатан весьма решительный, хотя и достаточно невнятный, призыв русских зарубежных писателей к борьбе за чистый русский язык и против утраты русскими детьми духа русской народности. Никаких способов борьбы, впрочем, не предлагалось и путей не указывалось, почему этот призыв и вызвал некоторую недоумение: что же все-таки нужно делать?

Из всех подписавших призыв только один А. И. Куприн в своей «Иллюстрированной России» перешел от слов к делу, пока очень скромно. Он напечатал две заметочки с перечнем слов, выражений и ударений, нарушающих чистоту русской речи: нельзя говорить «он с меня смеется», «не дрожи стулом», «пара минут» и пр. Дело идет, главным образом, о южнорусских, в частности «одесских» выражениях, замешавшихся в чистую великоросскую речь. Есть у него указания на неправильности, не зависящие от южного влияния («кататься на лошадях»), и иные из них довольно спорны. Так, например, слово «утихомирить», которое, по словам Куприна, «недавно втерлось в русскую литературу», в действительности давно в ней признано, и даже словарь Даля приводит на него пример («японец забунтовал, и его утихомирить надо»). Кстати славянское (языческое) имя Тихомир встречается в документах начала 17 века (см. «Словарь имен» Н. Тушикова). Столь же законны и обе формы — «брезговал» и «брезгал» (поговорка: «Станешь брезгать, будешь голодать»). То, что делает Куприн, очень нужно и полезно, хотя бы уже потому, что вызывает споры и разговоры о словах и выражениях.

Но не в этих «больных словах» наше главное несчастье; они хоть и больные, но все же русские. Главное горе в словах иностранного корня, совершенно не нужных русской речи и легко заменимых. Это несчастье — общее и для зарубежья и для России. И здесь и там засоренность языка достигла крайних пределов, особенно в газетах и в статьях научного содержания. Раньше на это обращали внимание, теперь, за другими заботами, перестали обращать. И нечего кивать на «наших детей», коверкающих речь на французский и иные лады (все эти «башо», «аррондисманы», «взял метро», «где вы будете на ревейоне» и пр.). Взрослые выражаются не

лучше. Величайшие губители русского слова — философы; за ними идут пишущие о спорте и политике; за ними — вся газетно-журнальная рать.

Философы (без обобщений, конечно!) вообще презирают язык, не только не пытаются пайти русские слова для точных и постоянных определений, но и во всех ненужных случаях выражаются на тарабарском наречии. Раскрываю книгу и беру наудачу пример (книга руссешего писателя): «Плюрастическая метафизика так же абстрактна, так же рационалистична, как и метафизика монистическая; спиритуализм в своем роде не менее дефектен, чем материализм». Еще: «Если объективизация есть лишь символизация, то этим преодолевается всякий объективно-предметный рационализм, всякое наивное гипостазирование объекта». Если в этом ужасе слов простить все «непереводимые» определения, то все-таки останутся легко заменимые слова «абстрактна» (отвлечена), «рационалистическая» (рассудочная, разумная), «дефектен» (порочен) и пр. На той же странице книги, на тридцати ее строках, я насчитал 53 иностранных слова! Не называю автора, — но это слишком!

А вот журнал — тот самый, где А. Кузрин, его руководитель, борется за чистоту речи, даже та самая тетрадка. Журнал ничем не хуже и не лучше других — по языку. «Директор колоссальной фабрики». Оставим директора и фабрику (хотя оба слова заменимы), но почему «колоссальной», а не огромной? «Соответственно интересам индусов» — нуждам, запросам, потребностям, пользе, выгодам, надобностям, — бесконечный ряд однозначных русских слов! «Своей оригинальностью» — самобытностью? «Элементарность» — простота, несложность. «Конкуренция» — почему не соперничество? «Дрессированное» — почему не обученное, прирученное животное? «Фреска» — отличное русское слово «стенопись»! «Компетентные лица — сведущие! «Активные политики» — а не деятельные? «Сонорные фильмы», — перед пакостным словом «фильм» робею, но «сонорный!» Есть слова — звуковой, звучащий, говорящий, поющий, взывающий и глаголющий — два десятка выражений! Что за «сонорный!» Создает «юмористическую атмосферу» — веселое, смешливое, шутовское, насмешливое и еще сто прилагательных — настроение. «Аппараты фабрикуются» — приборы делаются, изготавливаются. Или постоянное злоупотребление словом «реальный», вместо действительный, подлинный. Или словом «индивидуальный», вместо личный, особенный, особый. Или «мемуары» — вместо воспоминаний!

Все — случайные слова, попавшие на глаза. Эти слова пестрят всюду, в газетах, журналах, книгах, в живой речи, потому что они «легализованы», т. е. приняты, усвоены, узаконены, вошли в

речь. Мало кому приходит в голову, что они «не гармонируют» — не созвучны, не согласны, противоречат русскому языку, портят его чистоту и красоту. Тут дело не в том, чтобы непременно каждое иностранное слово переводить на русский язык (калоши — мокроступы, фортепиано — тихогромы), а в том, что русский язык настолько богат, что для него потребно лишь самое малое количество чужестранных слов. Слово «революция» не всегда и не везде можно заменить русскими «переворот», «восстание», «мятеж», «бунт», «перемена правления» и др. Но «эгоизм» — всегда себялюбие, и не пужно изобретать «самость». Для «аэроплана» итальянцы придумали слово «веллволо», но русским придумывать не пришлось: самолет! Старое и отличное слово! Только математики думают, что нельзя обойтись без слова «перпендикуляр» (отвес); только экономистам пужно слово «иммиграция» (вселение); только политик не может обойтись без «вотума» (голосование); только «архитектор» думает, что у него нет русского имени (строитель, зодчий); и только красящиеся дамы думают, что «руж» чем-то благороднее красной мази. Я не хочу придирааться: можно говорить «калепдарь» (месяцеслов), «библиотека» (книгохранилище), «типография» (печатня), «абажур» (колпак не всегда годится), даже «бутерброд» (хлеб с маслом), даже «мотор» (двигатель) и уж, конечно, «идиот» и «кретиц» (дурак, слабоумный). Но почему нужно говорить «тендепциозная пресса», вместо — пристрастная печать, и почему председатель «ре-зюмирует», а не подводит итог, не делает сводку мнений, или почему «персовально», а не лично, или почему живопись «жапровая» и «батальная», а не бытовая и военная, в книге «иллюстрации», а не рисунки, «виньетки», а не заставки и концовки, почему «моя корреспонденция», а не переписка, а в газетах печатают «рецензии», а не отзывы, а в них «критикуют», а не оценивают или не просто ругают, — вот этого я понять никак не могу! С другой стороны, отлично понимаю, что «забить гол» по-русски невозможно выразить иначе; были у нас кулачные бои, были городки, бабки, свайка и многочисленные виды игры в «сучку» (лунки, касло, масло, дуки, дубинки, клюки, альчик, костыга, лодыжка, козлок и пр.), причем, играли в шар, — но головой его никогда не подбрасывали, это занятие — не русское. Слово же «гол» значит у нас — корабельный кувов.

Так вот, когда мы согласимся, что добрых девять десятых иноземных слов, пакостящих русскую речь, можно выбросить по полной их ненужности, тогда можно будет заняться и чисткой и отделкой выражений русских и отбором к сторонке дребедени, вроде «выявил», «отобразил», «отвратный» (в смысле — отвратительный),

«начато печатанием», «посмертное произведение» (!), «выглядеть здоровым» и так далее.

Говорю это не из «ксенофобии» (неприязнь к иностранщине) и не во имя «национальвой» (народной) России, а просто потому, что смешно богатейшему языку занимать слова у беднейших (каковы, например, латинские наречия). У нас такое обилие «синонимов» (однозначащих слов) с тончайшими «нюансами» (оттенками), что нет никакой надобности употреблять вместо них слово иностранное, притом, безоттеночное, следовательно всегда неточное. Решусь утверждать, опираясь и на переводческий опыт, что не существует иностранного выражения, которое бы не могло быть вполне точно переведено на русский язык, — но ни на один язык не переводимы даже «сапоги в смятку» Гоголя, для нас — совершенно простое и понятное выражение.

Недавно один французский профессор, отличный знаток русского языка, уличил свою ученицу в том, что она пишет по-русски «блуждала взором»; взор блуждать может, по «блуждать взором», конечно, нельзя; ученица (русская) долго с ним не соглашалась, падеюсь, что теперь согласилась. На уроке того же профессора (г. Жюль Легра) русский его студент уверял, что в слове «пружинь» (повелит. накл. от пружинить) ударение на первом слоге; профессор с ним не согласился. Это уж неловко — француз знает лучше русских! Удивляться ли, когда слышишь «займите мне денег», «я садил цветы», «он закрыл окно» (как будто окно с крышкой)?

Все мы делаем сотни ошибок в письме и разговоре. Русский язык необычайно труден, и многое в нем спорно. Но хоть было бы желание знать его и говорить на нем правильно, — а то ведь и этого не заметно. О какой же «охране детей от порчи языка» может идти речь? И не грешно ли ссылаться на порчу языка «днепростроями», «совдецами» и «шаркомвнешторгами»? Это — не беда, такое словотворчество преходяще, а иногда и благотворно. А вот «садить» цветы нельзя: их можно только сажать, так как на стульях они чувствуют себя неудобно; людей же в тюрьму не «сажают», а садят, хотя и не на стулья. А почему это так — объяснить не умею. Нужно будет спросить француза!

Окончание следует

Публикация О. Г. Ласунского

Рисунок С. Жагина

Статья «О русском языке», которую мы предлагаем нашему читателю, принадлежит перу Надежды Александровны Бучинской (1872—1952), русской писательницы, печатавшейся под псевдонимом Тэффи, известной своими юмористическими рассказами и фельетонами.

Размышления Тэффи о русском языке в годы эмиграции, на наш взгляд, близки по своему духу полемическим заметкам М. А. Осоргина.



О РУССКОМ ЯЗЫКЕ



Тэффи

Очень много писалось о том, что надо беречь русский язык, обращаться с ним осторожно, не портить, не искажать, не вводить новшества. Призыв этот действует. Все стараются. Многие теперь только и делают, что берегут русский язык. Прислушиваются, поправляют и учат.

— Как вы сказали? «Семь раз примерь, а один отрежь»? Это абсолютно неправильно! Раз человек меряет семь раз, то ясно, что вид надо употребить многократный. Семь раз примеривай, а не примерь.

— Что? — возмущается другой.— Вы сказали — «вынь да положь»? Что это за «положь»? От глагола «положить» повелительное наклонение будет «положи», а не «положь». Как можно так портить язык, который мы должны беречь, как зеницу ока!

— Как вы сказали? Надеюсь, я ослышался. Вы сказали: «Я иду за вином»? Значит, вино идет впереди вас, а вы за ним следуете? Иначе вы бы сказали: «Я иду по вино», так говорят — «я иду по воду», — и так и следует говорить.

Давят, сушат, душат!

Думал ли кто-нибудь, живя в России, правильно ли он говорит? Приходило ли кому-нибудь в голову сомневаться в законности своего произношения или оборота фраз?

Огромная Россия сочетала сотни наречий, тысячи акцентов. Каждая губерния, каждый уезд окали, цокали, гакали по-своему. Тот сухой академический язык, который рекомендуется нам сейчас, существовал лишь в литературе, когда автор вел речь от себя, потому что как только он начинал писать языком живым, на котором люди говорят, сейчас перед читателем выявлялась личность, от которой слова шли. Под безличным, гладким литературным языком автор прячется, отрекается от себя, говорит «объективно».

«Чуден Днепр при тихой погоде»,— это не значит: «я нахожу, что Днепр чуден». Это значит, что он чуден, и этот факт я сообщаю.

Если же вы прочтете восхваление Днепру, выраженное разговорным языком, то сразу увидите, кто говорит.

— Ну и Днепр, ну и речича...— говорил помещик, исправник, купец.

— Днепр в хорошую погоду — это сама прелесть!..— говорила провинциальная барышня.

Если бы пришел к вам приятель шофер или репортер, человек деловой и нормальный, он сел бы, закурил папиросу и сказал:

— Вспомнился сегодня Днепр. Какая чудесная река, особенно при тихой погоде.

Ладно.

А если бы он сказал: «Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит», и т. д.

Не ладно! Подумали бы, что он спятил, даже если бы Гоголя не читали и могли допустить, что это он сам так вдохновился.

Литературный язык в разговоре безобразен потому, что мертв. В России мы все говорили на живом языке. Он всегда менялся, отбрасывал изжитое, впитывал новое, не боялся ничего. Все участвовали в создании его, в питании новыми соками. Никто никого не одергивал, не исправлял, не останавливал. Ich singe wie der Vogel singt (Я пою так, как поет птица, нем.).

Именно — «как птица», как чувствовалось.

Наш петербургский язык был самый блеклый и чопорный. Даже соседка Москва казалась немножко провинциальной и вульгарной.

Зачем говорить «што» вместо «что»? Зачем тянуть «скушно» вместо быстрого «скучно»?

И когда во время войны хлынули в обе столицы беженцы с юга, с запада и с юго-запада, тут мы пришли в настоящую ярость. Как смеют говорить: «извиняюсь!» Как смеют «ехать поездом», а не «в поезде»! И почему все время «так» и зачем «жеж» вместо «же»! «Так я жеж ехал вагоном». Очень все это раздражало.

Но когда мы сами двинулись в путь, хлынули сплошным потоком вниз через всю Россию и услышали на месте все эти грехи, горькие грехи против чистого русского языка, они уже не показались (мне по крайней мере) такими отвратительными. Они, оказывается, просто, как нежные фрукты, не выносили перевозки.

Русский язык, на котором говорили в Одессе, считается верхом лингвистического безобразия. Конечно, если писать на этом языке «Критику чистого разума» или «Историю романтизма Западной Европы»,— вышло бы, действительно, не ладно.

Но там, в Одессе, на родной почве, на улицах, где суетились юркие дельцы, где все время что-то защищают и в чем-то друг друга убеждают,— там этот язык выразителен и чудесен.

В первый же день моего приезда сидела я в зале большого одесского отеля. Здесь же вертелся неизвестный мне субъект, местный тип. И ясно было, что хочет заговорить. Наконец, нашелся.

— Скажите,— спросил он,— вы, значит, тоже пассажир?

— Что? — растерялась я.

— Ну да. Раз вы живете в этой гостинице,— значит, вы здешний пассажир. Вы видели море?

— Что?

— Море, так это море.

Вот это был живой язык! Таким языком у нас на севере рассказывали только анекдоты, а здесь он жил живой, юркий, гибкий и чего только не плел.

— Скажите, или вы придете к нам?

— Все правильно, только «или» выскочило: и получается забавная штука, от которой сразу делается весело. Ответ иронически любезный. Или!

Это значит: «Вы хотите сказать: или не придете? Так все же ли вы можете предположить, что я не приду?»

Видите, как сложно, как тошко!

Этот одесский язык был исключительно красочен. Но ведь недурны и наши сибирские «однако», и удивительные окрики «кром», когда человек недоволен прерывает собеседника, грозно подняв указательный палец. И все это хорошо.

Какие бы шлюзы ни ставили через наш бедный эмигрантский язык, он прорвет их, и если суждено ему стать уродом, то и станет, хотя будет живым.

Чем питать его? Старыми нашими истрепанными книжками? А самим нам много ли веку осталось?

Горько, жалко, но это так!

А разве там, в России, не отошел язык от старого русла? Разве он тот, каким мы его оставили? Почитайте литературу. Поговорите с приезжающими. Прислушайтесь.

Мы еще храним старые заветы, потому что любим наше прошлое, всячески его бережем. А они не любят и отходят от него легко и спокойно.

И мы, хотя будем очень горевать, но уйдем тоже...

Подготовил к печати А. Л. Топорков

Рисунок выполнен С. Владимировым

Литературное произношение в театре

Советы Л. В. Щербы

В. В. Колесов,
профессор Ленинградского университета



После долгих лет гражданской войны и разрухи малограмотные и неграмотные рабочие, ремесленники, крестьяне открыли для себя новый мир. Как первоочередную задачу — освоить достижения мировой культуры ставил перед ними В. И. Ленин. Необходимо было вызвать к жизни глубинные творческие силы народа. И начать надлежало с самого простого: научить правильно говорить. Сегодня это кажется легким и понятным делом, но конечный результат, видимый теперь, достигался не так просто. Среди ученых, принявших революцию и поставивших свои знания на службу народу, был и академик Лев Владимирович Щерба — всемирно известный лингвист, основоположник многих направлений современного языкознания.

В послереволюционные годы в крупных городах смешалась речь «культурная» и диалектная, да еще, бывало, и с одесским или грузинским говорком. Каждый слой общества предлагал свои слова, свое произношение, убежденный в том, что свобода вообще дает право говорить как хочешь, как привык с детства. В этом столкновении речевых стилей необходимо было ответить на вопрос: можно — и нужно ли — говорить правильно? И что это такое — правильно?

Речевых вариантов накопилось множество, какой из них признать общим для всех — литературным? Кто поможет распространить эту новую норму? По традиции такую задачу может выполнить театр: со сцены должна звучать «правильная» речь, с нее и следует начинать преобразования.

В декабре 1933 года состоялись беседы Л. В. Щербы с актерами Ленинградского театра юного зрителя. Сохранились две стенограммы этих бесед (хранятся в Архиве АН СССР, фонд 770, опись 1,

дело 78. Ленинград). В те годы театром руководил замечательный режиссер, впоследствии народный артист РСФСР Л. Ф. Макарьев. Он и актеры молодого театра участвовали в этом увлекательном разговоре.

Сначала Щерба ввел слушателей в тему беседы. Он объяснил, что всякая устная речь имеет две формы: разговорный стиль непринужденной беседы и полный стиль речи, которым, между прочим, умело должен пользоваться и актер. Чем больше собеседников — тем понятней для всех должен быть полный стиль речи.

Различие стилей важно, оно определяет установку говорящего: говорить быстро (бегло) и оттого небрежно в произношении или внятно, «по-писаному», четко воспроизводя звуки. Это не значит, что в разговорном стиле можно проглатывать звуки, шепелявить или картавить. Говорить следует столь же понятно, хотя тут в случае необходимости можно помочь себе жестом, улыбкой, интонацией, паузой. Да и полный стиль не предполагает чеканной речи по слогам, такая речь манерна, искусственна, словно говорит машина. Читаем в стенограмме:

«Если в полном стиле вы сделаете ударную гласную совершенно одинаковой с неударной, получится деформация слова, два ударения, потому что и в полном стиле перспектива ударных и неударных гласных должна быть соблюдена не только в смысле ударения, но и в смысле разницы четкости, напряжения и в смысле нюанса... Вот обычное выражение сказочной речи — с *добрѣм* мѣлодцем или о *добрѣм* мѣлодце. Именно так, различая гласные в окончаниях прилагательных, и должен читать актер: в одном случае *-ым* — и это творительный падеж, в другом *-ам* — и это падеж предложный. В разговорной речи, когда торопишься, произнесешь что-то среднее, похожее на неясный звук *и* (записывается как ускользящий гласный *ѣ*): *добрѣм* — все равно, о *добрѣм* мѣлодце или с *добрѣм* мѣлодцем. Говорят, что равняться следует на произношение москвичей, тогда, мол, все станем говорить культурно. Это не всегда справедливо, — осторожно замечает Щерба. — Ведь и в Москве говорят по-разному. Конечно, москвичей настоящих не видать, но все-таки я имел случай слышать несколько подлинных исконных москвичей, родившихся там, и семьи которых еще раньше жили в Москве. И вот у них-то полное произношение, как у меня, никаких *пбля*, *мѣря* вместо *поле*, *море* не существует».

В полном стиле произношения, в медленной речи, Щерба различает окончания всех трех слов: именительный имени *Пбля* (с *а*), родительный — *Пбли* (с *и*), а в существительном *поле* — *е*.

Полный стиль речи ближе к письму, он морфологически выяв-

ляет все значимые элементы слова. В разговорном же стиле побуждает не значение, а форма, произношение как бы подавляет различительные особенности морфем, они затушеваны, скрыты, на глазах исчезают.

«А с прилагательным: *синее море*? Тут *е* яснее, чем просто *море*. *Синее море* по-московски должно быть *синяя моря*, но для меня *синяя моря* звучит странно, и, могу сказать, невыносимо: но это не значит, что я прав... Мое северное ощущение противится такому, но оно может быть неверным...»

Сомнения? Да, но рождаются они потому, что в разных словах, которые должны бы произноситься одинаково, нет никакого сходства.

«Я бы сказал *красные*, но *синии*... *краснии* мне неловко сказать...»

В мягком склонении форма множественного числа одна, в твердом — другая. Это вполне возможно, если учесть, какую важную роль играет в русском языке противопоставление твердых и мягких согласных. И Щерба отмечает, что различное произношение возможно даже там, где пишется, казалось бы, одинаково: *красные*, *синие*.

«*Синии* — безусловно это так, а *краснии* — возможно... Нужно решить вопрос о том, как говорить: *здоровай и строгой человек* или *здоровый и строгий человек*. *Здоровай* для меня звучит совершенно диалектно или архаически. Тут происходит смешение двух надежей, а это нежелательно: *здоровый человек*, но *от здоровой женщины*... Словом, если орфография не изменится по-другому, то мое представление в конце концов восторжествует, и будет произношение *здоровый!*»

Щерба оказался прав: именно так, как пишется, и произносят теперь прилагательные в именительном падеже: *здоровый, горький, строгий*. Произносить произносят, но дикторов и актеров по-прежнему учат: *здоровай, горькай, строгой*. А для Щербы важно, чтобы и в устной речи также различались разные формы слова, разные падежи прилагательного.

А как быть с окончаниями глаголов — важной части речи?

«Для меня сказать *она мне приглашится* — совершенный нонсенс, а вот в другом случае: *он будит* (то есть одинаково *он будит* и *он будет*) — совпадают. Вообще московское произношение мне сомнительно: *и* вместо *е* не всегда следует замечать. Нужно различать глаголы первого и второго спряжения, как это в орфографии различается. То же и в форме множественного числа: *молят, просят* в разговорном стиле возможно [именно так и говорят москвичи], но в стиле полном такое произношение сомнительно».

Тут Макарьев прерывает. Он опытный актер, для него речевой канон московской сцены — закон, он говорит: «А для меня *прсят* невыносимо, так же, как *что* вместо *што*».

Ответ Щербы: «Но после *ш* произношение с *у* возможно: *слышут* мне также не режет ухо, а вот *тешутся* вместо *тешатся* мне неприятно, потому что *тешутся* будет от глагола *тесать*, я механически чувствую, что мне почему-то нехорошо».

Нехорошо оттого, что глаголы *слышать* и *утешать* не совсем похожи, теперь-то каждый пятиклассник знает эти исключения: *слышать, дышать, держать*...

«И ведь что еще важно для полного стиля речи. Может быть окончание *-ут* в третьем лице множественного числа, однако слова книжные, которые чаще видят глазами, чем слышат ушами, сохраняют все-таки *-ат*. Я не скажу: его *прочут* в директоры. Это книжное слово, каждый день мы так не говорим. Но вот иначе: его *тащут* в участок — и тут только так! И это не звучит странно, даже в полном стиле именно так».

Слово за словом перебирает Щерба, и оказывается, что, кроме различий между полным и разговорным стилями, произношение зависит еще и от качества слова, от его формы, а где-то далеко-далеко, в глубине веков, и от истории этих слов.

Актеры задают новые вопросы: «*Взялся* или *взялся?*»

«Это зависит от характеристики данного лица — можно и *взялся*, можно и *взялся*. Евгений Онегин, «зевая, за перо *взялся*», а теперь говорим: *взялся за дело*. *Взялся* — новое ударение, разговорное. Но тут и кроме ударения интересная вещь: *взялся* или *взялся*».

— Все мы любим *са*, — отвечают актеры, — произносим твердо.

— Но под ударением вы не скажете *взялся!*

— Скажем, ведь так установлено Всеволожским для императорских театров», — отвечает Макарьев уверенно.

Робко поднимается с задней скамейки молодой человек — студент при театре: «— Мы все же за *ся*... как все говорят...» Щерба размышляет вслух:

«Конечно, *взялся*, потому что и ударение, и твердое окончание сталкиваются... В других же случаях вовсе не твердое с произносим, а совершенно другой звук: *носятся* пишем, *носятца* произносим — хоть и твердое произношение, но — вовсе не *с!* Звуковой обман, о произношении судим по письму, а это нехорошо. Восторжествует все-таки *-ся*, вот посмотрим».

Дело не только в том, что сегодня все мы, действительно, говорим *взялся, сделался, случилось* и т. д. (вместо старинных *взялся, сделался, случилось*). Главное в том, что актерам стало

ясно: живая речь переменчива, зависит от многих условий — пишут данное слово или только произносят, важная грамматическая форма или нет (глагол — сам по себе, а прилагательное в речи зависит от существительного, значит, его можно произнести небрежнее), в каком слове встречается — в старом, книжном или в бытовом, да вдобавок от стиля речи — полном или разговорном, да кто сказал — интеллигент или рабочий, когда сказал, с какой целью.

С прошлого века в русской традиции существовало два типа литературного произношения гласных и согласных в слове. Одно теперь называют старомосковским, другое было петербургским. Когда-то они соревновались друг с другом, по только московское почтительно считалось чистым. В 30-е годы нашего века даже тонкий наблюдатель устной речи Щерба частенько уже забывает: какое из них московское, а какое — петербургское. То *ми́лá* на месте *ме́лá* признается петербургским, то такое же иканье *чи́сьí*, *пи́тáк* — московским. Местные формы речи настолько распространились, что их происхождение забылось, важным оставалось только употребление.

И вот тут-то все три типа звучаний безударного гласного после мягкого согласного сошлись в новом противоречии. Между прочим, сегодня никто из нас не скажет уже *ча́сьí*, *пя́тáк* (это произношение считается диалектным), редко кто произнесет *че́сьí*, *пе́тáк* — это произношение устаревает. Большинство из нас говорит *чи́сьí*, *пи́тáк*. Современная норма выросла из живой речи наших отцов.

Разговор получает еще один поворот. Оказывается, не одним стилем речи определяется верное произношение; ведь речь изменяется, развиваясь.

«То московское произношение, — обобщает свою мысль Щерба, — которое описывается в учебниках, — архаическая вещь, и все это надо переделать по-другому, и в декламации тоже. Нужно искать новые нормы, не те, которые по традиции существуют в этом деле ...*Шы́лún*, *же́ра́*, *ше́рбí* — этого абсолютно нет, и в Москве никто так не говорит — только *ша́рбí*, *шалúн*, *жа́ра́*. Впрочем, и я, человек, на которого легко влияет среда, колеблюсь, как надо говорить».

Время идет, и авторитетный специалист по русской орфоэпии сам изменяет свое произношение. В 1912 году в словах *ми́лá* и *ме́лá* он одинаково слышал *и*, хотя замечал, что старшее поколение различает здесь *и* и *е*: *ми́лá* и *ме́лá*. Так слышали от старших — это традиция, а говорим уже по-своему. Именно произноше-

шем обоих слов как *ми́л* он, петербуржец, отличался в начале века от московского сверстника, который по старинке произносил *ми́л* и *мел*. Щерба уже различал звучание и морфологическое значение звука речи, для него они не совпадают. Через четверть века он говорит иначе: *ми́л* и *мел*. Ошибка? Колебание? Забывчивость?

Причина — не только в различном отношении к языку и к речи: в полном стиле предпочтительно *е* (то есть старая норма) — *мел*, в разговорном допустимо и *и*. Колебания мнений отражают изменение самого языка, потому что в течение XX века система русского языка решительно повернулась к развитию «иканья», как самой удобной форме выражения предупредных гласных. Удобство системы в том, что в любом случае произносится один и тот же гласный — *и*; достаточно сравнить с написанием, где такие гласные различаются: *пятак*, *сиди*, *вези*, но в произношении одинаково: *пятак*, *сиди*, *визи*. Упрощение произношения регулируется системой языка, и уже дело лингвиста выбрать нормативный вариант. Так в дело вступает и третий критерий выбора: не только стиль речи, но одна потребность сохранить в произношении морфологические различия, но и правила письма. Может быть, нам и писать *визи*, *пятак*? Как говоришь — так и пиши, куда как просто, проще и не бывает.

В 1942 году по этому вопросу Л. В. Щерба рассуждает уже иначе, принимая во внимание и этот, третий фактор — письмо. «— Сейчас „иканье“ в полном стиле считается диалектным произношением...», но в современном разговорном стиле, наоборот, сохраняется «еканье», которое представляется тоже диалектным явлением (см.: Щерба Л. В. Теория русского письма. Л., 1983. С. 27–29). Различение двух стилей произношения — полного и разговорного (чисто звуковая черта нашей речи) — столкнулось с различием литературной нормы (как следует говорить) и просторечием (как говорят). В результате старая традиция произношения ломается изнутри: и так говоришь — диалект, и иначе — тоже. Тут вопрос только в том, какое произношение победит. Побеждает иканье. «Задача языковой политики в этой области состоит, стало быть, либо в том, чтобы полный стиль, а за ним и письмо подтянуть к „икающему“ произношению..., либо в том, чтобы и разговорный стиль подтянуть под полный и под существующее письмо. Я полагаю, что выгоднее стремиться к последнему [к „еканью“], так как первый путь ведет к полному разрыву литературной традиции, это едва ли желательно, особенно в настоящее время (...) Значение письменного языка в его орфографической одежде настолько велико в наше время, что имеет решающее значение для разго-

верного языка вообще (...) В моей даже памяти неударенное *a* после мягких согласных, т. е. орфографическое *я*, начинает вытеснять в полном стиле традиционное *е*: *плясать* вместо старого *пле-сать*, *клянусь* вместо *кленусь* и т. д.» (там же).

В этом отношении Щерба тверд: против икающего произношения он возражает и в 1925, и в 1936, и в 1939 годах, так что и окончательное его мнение оказывается непоколебленным: «Теперь, когда дирижерская палочка перешла к Москве, куда икальцы стекаются в большом количестве, *е* литературного языка начинает подвергаться большой опасности. Раздавались уже голоса об утверждении буквы *и* даже в орфографии. [Требовали и писать *чесы* или *чисы*] Литературный язык должен сопротивляться этому натиску, так как подобное изменение грозило бы расстройством всей выразительной системы русского языка...» (Исследования по русскому языку. М., 1957. С. 129).

В наши дни икающее произношение *плисать*, *чисы*, *визи* и др., как наиболее удобное в речи, настолько распространилось, что уже и справочники по орфоэпии рекомендуют его как современную норму. Но на письме мы по-прежнему различаем *я*, *и*, *е*.

Актерскую речь Щерба наблюдал внимательно. Она звучит со сцены, любое отклонение оказывается манерным, вызывает смех. В сценическом произношении важна не только противоположность между письменной и устной речью, но и ценность каждого отдельного слова, его грамматической формы. А культура речи требует еще одного: различения стилей речи, для кого, для чего говоришь ты сейчас. И тут справедливым остается правило: «Полное произношение руководствуется орфографией».

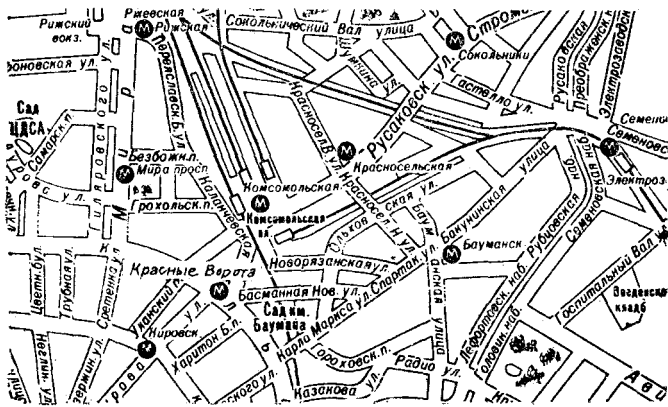
ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«Разъясните, пожалуйста, выражение *пиррова победа*».

И. И. Ключко, Мелитополь

Пиррова победа употребляется в значении: сомнительная победа, которая не оправдывается понесенными за нее жертвами.

Эпирский царь Пирр в 279 г. до н. э. одержал победу над римлянами в битве при Аускуле. Однако, как рассказывает Плутарх в жизнеописании Пирра и свидетельствуют другие древние историки, при этом царь потерял столько своих войск, что вынужден был сказать: «Еще одна такая победа, и мы погибли!»



Об ударении в названиях МОСКОВСКИХ УЛИЦ

Вопросы произношения и ударения разных групп слов интересуют многих читателей журнала «Русская речь». Трудности вызывают, в частности, названия московских улиц, площадей, проспектов. Эти проблемы нашли отражение в словаре-справочнике Ф. Л. Агеенко «Ударения в названиях улиц Москвы и в географических названиях Московской области» (под редакцией Д. Э. Розенталя). Он издан Главной редакцией писем и социологических исследований Госкомитета СССР по телевидению и радиовещанию (I изд.—1980, II —1983). Его тираж 250 экземпляров, поэтому он недоступен широкому читателю. Вместе с тем это издание может быть полезным пособием не только для работников Гостелерадио, но и для лиц самых разнообразных профессий, интересующихся литературными нормами произношения и ударения.

Автор словаря — Ф. Л. Агеенко, консультант отдела дикторов Центрального телевидения по вопросам произношения, ударения и стилистики русского языка, является также одним из составителей «Словаря ударений для работников радио и телевидения», вышедшего в шести изданиях. Мы попросили Ф. Л. Агеенко рассказать о наиболее трудных и показательных примерах из ее работы, об особенностях словаря-справочника «Ударения в названиях улиц Москвы...»

Телевидение и радио призваны нести в массы высокую культуру устной речи, быть образцом литературного произношения. Поэтому вполне естественно, что для них вопросы нормативного ударения представляют особую важность.

Как правильно сказать: *Рёутовская ул.* или *Реутовская ул.*?, *Автозавдская ул.* или *Автозаводская ул.*? Такие вопросы постоянно возникают не только у дикторов, корреспондентов, актеров и у многих выступающих на Центральном телевидении и Всесоюзном радио, которые читают в эфир передачи для Москвы, но и у лиц других специальностей, у представителей самых разнообразных профессий.

Выбор варианта произношения и ударения в том или ином названии улицы, площади, проспекта нашей столицы не так прост, как кажется на первый взгляд. Это связано с появлением новых названий, еще не ставших привычными в повседневной речи, а также с наличием акцентологических вариантов, используемых москвичами: *пл. Свердлова* — *пл. Свёрдова*, *ул. Димитрова* — *ул. Димитрѳва*, *ул. Островитянова* — *ул. Островитянова*, *ул. Саломеи Нерис* — *ул. Саломеи Нѳрис*, *Новгородская ул.* — *Нѳвгородская ул.*, *Большой Никѳловорѳбинский пер.* — *Большой Никѳловорѳбинский пер.*

Площадь Свердлова названа в честь советского государственного и партийного деятеля, который так произносил свою фамилию: *Свердлов*. Поэтому и площадь, названная его именем, произносится с ударением на последнем слоге. В названии улицы Димитрова в широкое употребление вошел вариант *ул. Димитрова*, хотя в Болгарии говорят *Димитрѳв*. В «Советском Энциклопедическом Словаре» фамилия этого деятеля болгарского и международного коммунистического движения приводится с ударением на предпоследнем слоге *Димитров*. Именно так и следует произносить название этой улицы. Довольно часто допускаются ошибки при произношении названия *улица Островитянова*. Советский ученый-экономист, в честь которого была названа улица, произносил свою фамилию так: *Островитянов*. Значит, *улица Островитянова*.

Улица Саломеи Нерис. Как известно, сами литовцы произносят имя своей поэтессы с ударением на последнем слоге: *Нерис*, но акцентологический вариант *Нѳрис* тоже получил широкое распространение, хотя он не является правильным. В «Советском Энциклопедическом Словаре» (2-е изд.) ее фамилия дается с ударением на конце: *Нерис*. Рекомендуется произносить это название: *ул. Саломеи Нерис*.

По поводу ударения в названии *Новгородская улица*. В прилагательном, образованном от названия города *Нѳвгород*, ударе-

ние передвигается ближе к концу слова: *Новогорбдская ул.* Перелом *Большой Николоворобинский* назван по находившейся здесь с XVII века церкви Николы в Воробине. *Рёутовская улица* названа по подмосковному городу *Рёутово*; вариант *Реутово* не является официальным.

Нередко допускаются ошибки в таких названиях, как: *Автозаёбдская ул.*, *Вёлозаёбдская ул.*, *Нёвозаёбдская ул.*, *Хлёбозаёбдский пр.* Встречается вариант: *Автозаводскáя, Вёлозаводскáя, Нёвозаводскáя ул., Хлёбозаводскóй пр.* Как известно, в прилагательном, образованном от слова *завод*, ударение ставится на последнем слоге: *заводскóй*. Но в сложных названиях оно передвигается на предыдущий слог: *Автозаводская ул.* Список аналогичных примеров можно продолжить: *Нёвослоббдская ул.*, *Стáрослоббдская ул.*, *Дёброслоббдская ул.*, *Кáменнослоббдский пер.* (*слободá* — *слободскóй*, но *Нёвослоббдская ул.*).

Идут споры по поводу произношения названия *Воротниковский пер.* Одни считают, что в прилагательном, образованном от слова *ворóтник* (сторож у ворот), ударение остается на том же слоге: *Ворóтниковский пер.* Но более убедительной кажется другая точка зрения: ударение в названии *Воротникóвский пер.* передвигается к концу слова, что характерно для разговорной речи. Аналогичные примеры: *Звенигóрод* — *Звенигорбдский*, *Стáврополь* — *Ставропóльский* и т. д. Названия *Кадашёвская наб.*, *Кашёнкин луг, пр. Дежнёва*, *Мнёвники* следует произносить с ё.

Значительное количество названий представляет интерес с точки зрения словоизменения: *Останкино, Бусиново, Быково, Внуково, Домодедово, Шереметьево, Коньково-Деревлёво, Хорошёво-Мнёвники* и т. д. Известно, что названия, оканчивающиеся на *-ово, -ево, -ино, -ыно* следует склонять. Однако в разговорной речи они обкарикужируют тенденцию к неизменяемости. Часто можно услышать название *Остáнкино* в несклоняемом варианте, но в соответствии с правилом его следует склонять: «...Мы посетили музей крепостных художников в *Останкине*», «Мы работаем в *Останкине*...» Исключением является только один случай, когда речь идет о концертной студии: «Мы находимся в Концертной студии *Останкино*». Здесь *Останкино* является приложением, поэтому не склоняется. Но если перед этим названием находится предлог, то его следует склонять: «Передача идет из Концертной студии в *Останкине*...»

Таким образом, есть большая необходимость в специальном пособии, в котором можно навести справки о географических названиях Москвы и Московской области. Накопившийся материал был собран и издан в виде словаря. В него включались только те

названия, которые представляли интерес с точки зрения ударения, произношения и частично словоизменения: *пл. Амílлара Кабрáла, Барашéвский пер., ул. Василия Ботылёва, Квесíсская ул., пр. Дéвичьего Пбля, пл. Дзержíнского (не дээ), Одéсская ул. (не дэ), Кантеми́ровская ул., Федерати́вный просп. (не дэ), Сальвадóра Альбéнде, ул. (дэ), Гáрднеровский пер. (нэ), ул. Бориса Жигу-лénкова*. В словарь были включены новые районы Москвы: *Стро-гинó, -á; Ясенево, -а; Бибурево, -а*.

К значительной части названий дается справка, объясняющая ударение (связь с фамилиями лиц, географическими названиями, историческими событиями и т. д.). Например: *пл. Джавахарлáла Нэру (нэ)* названа в честь политического и государственного деятеля Индии, неизменно выступавшего за всемерное развитие дружбы и сотрудничества между СССР и Индией; *ул. Краси́кова* — в честь П. А. Красикова, участника Октябрьской революции, партийного и государственного деятеля; *Бережкóвская наб.* — по местности Бережкí, где в XVII веке находилась Бережкóвская рыбацкая слобода; *Яхро́мская ул.* наименована по подмосковному городу Яхрому; *ул. Кашéнкин луг* — название связано с пойменными лугами по берегам реки Кашéнки. Пояснения не даются в тех случаях, когда смысл наименования ясен (*Марксистская ул.*), когда его происхождение не установлено (*Бáзовская ул.*), когда оно дано по фамилии землевладельца (*Беленбеский пр.*).

В справочнике приводятся названия башен Кремля, бывших монастырей, представляющие интерес в культурно-историческом плане: *Беклемíшевская (Москворéцкая) башня* Кремля названа по примыкавшему со стороны Кремля двору боярина Беклемíшева; *Константи́но-Елénинская башня* названа по церкви Константина и Елены в Кремле (не сохранилась); *Тайни́цкая башня* — здесь был построен тайник-колодец и подземный ход к реке; *Андрóников монастырь (Спáсо-Андрóников, Андрóников Спáса Неру-котебрно́го)* назван по имени Андроника, ученика Сергия Радонежского.

Некоторые названия не соответствуют существующим реалиям, но встречаются в текстах теле- и радиопередач, поэтому включены в словарь-справочник: *Сыромя́тники* — историческое название местности к востоку от Садового кольца, названы по дворцовой Сыромя́тнической конюшенной слободе; *Кита́й-гбро́д* — один из древнейших районов Москвы, название известно с XVI века (предположительно от слова *кита* — связка жердей, применявшихся при строительстве укреплений); *Хитро́вка* — название местности в восточной части центра Москвы, между Яузским бульваром и улицей Солянка. Постановка ударения в этом названии вы-

звала некоторые затруднения, так как существуют две точки зрения по поводу его происхождения. Одни считают, что надо произносить *Хитровка* и *Хитров рынок*, так как якобы смысл названия связан с определенной чертой характера завсегдаев этого места — хитростью. Отсюда и название — *Хитров рынок*. Другие считают это неправильным, полагая, что *Хитровка* наименована по фамилии генерал-майора Н. З. Хитровó, на землях которого возник так называемый Хитрóв рынок. Мы советовались с научными сотрудниками Музея МХАТа, интересовались также мнением по этому вопросу народных артистов СССР А. П. Зуевой и М. И. Прудкина, которые помнили постановки во МХАТе пьесы М. Горького «На дне» и походы актеров на Хитров рынок. Была учтена также рекомендация энциклопедии «Москва». В соответствии с этим в словаре-справочнике дается это название с ударением на втором слоге: *Хитрòвка*.

Иногда с новыми названиями улиц приводятся прежние с соответствующими ссылками, так как они часто встречаются в практике телевидения и радиовещания: *Маросéйка, ул.* — см. *Богдана Хмельни́цкого, ул.*; *Больша́я Лубя́нка, ул.* — см. *Дзержи́нского, ул.*; *Покрòвка, ул.* — см. *Черныше́вского, ул.*; *Тверска́я ул.* — см. *Го́рького, ул.*; *Мясни́цкая ул.* — см. *Кы́рова, ул.* При новых названиях дается историческая справка с объяснением происхождения прежнего: *Богдана Хмельни́цкого, ул.* — старое название *Маросéйка* — произошло от искаженного в московском говоре XVII в. Малоросси́йского подворья (Малороссе́йка — Маросе́йка).

Но, как известно, учитывая пожелания общественности, москвичей, Исполком Моссовета восстановил некоторые старые названия, в том числе *ул. Осто́женка* и *ул. Хамовнический Вал*. В новом издании словаря-справочника будет дано так: *Метрострóвская ул.* — см. *Осто́женка*; *Фру́нзенский Вал, ул.* — см. *Хамовнический Вал, ул.* При названиях *Осто́женка* и *Хамовнический Вал* будет дана историческая справка с объяснением их происхождения.

Названия улиц Москвы — это часть ее культуры, ее истории, поэтому требуют бережного к себе отношения.

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«Меня и моих друзей интересует, что означает слово „прана“?»

В. М. Тищенко, *х. Щепкин Белгородской обл.*

Слово *прана* в переводе с санскрита означает *ветер, дыхание*.

В индийской философии этим термином обозначается живое, жизненное начало в теле человека.

Этой статьей кандидата филологических наук В. И. Аннушкина мы начинаем публикацию материалов о практической риторике. Читателям, очевидно, знакомы беседы о русском языке по радио и телевидению этого автора. На страницах нашего журнала последующие свои публикации В. И. Аннушкин предполагает посвящать разным вопросам речевого мастерства: умению говорить публично, вести деловой диалог, бытовой диалог и другие.



В. И. Аннушкин,
кандидат филологических наук

Едва ли найдется человек, который стал бы отрицать, как важно хорошо владеть словом. В сущности умение говорить убедительно, ярко, точно и кратко — забота и желание каждого из нас.

В фольклоре, как и во многих суждениях древних, встречается мысль о том, что речью связываются все человеческие дела: язык — стяг, а «стяг дружины водит», язык — рычаг («языком — что рычагом»). И если речь выстроена неверно, то разлагивается и само дело; напротив, владение речью приводит человека к успеху: ведь «хорошее слово — половина счастья».

Проблема эффективной речи особенно важна сегодня, когда растет значение правильного, убедительного слова. Демократизация общества и гласность предполагают умение каждого изложить свою точку зрения, а для этого необходима прежде всего способность выражать свои мысли так, чтобы вас поняли и поддержали. Само слово *гласность* связано прежде всего с речью. Мы как бы сказали человеку: «говори!», но может ли он говорить, если привык молчать или не умеет отстоять свою позицию? А ведь именно гласность открывает дорогу подлинно демократической критике и соревнованию идей, предложений в развернувшейся перестрой-

ке. Так проблемы демократии и гласности оказываются тесно связанными с практическими задачами филологии, решающей важнейшую на сегодняшний день задачу: обучение пользованию языком.

Существует ли специальная наука о речи? Грамматика занимается правилами построения слов, словосочетаний и предложений; лексикология описывает словарный состав языка; орфоэпия предлагает правила произношения; орфография — правила письма... Традиционной наукой о речи, переживающей сейчас свое возрождение, была и есть риторика. Вот какими словами начинается курс «Теория словесности», написанный в 1860 году К. П. Зелепецким: «Предмет риторики есть речь. Речь есть устное или письменное, прозаическое или стихотворное выражение наших мыслей. Риторика показывает те условия и правила, которые приличны всем родам устной или письменной речи». Не об этом ли мы обычно и задумываемся: что и как «прилично», уместно, целесообразно сказать или написать в той или иной ситуации?

Куда же исчезла риторика? И почему ее не преподают в школе, если проблема хорошей речи столь важна? Наконец, если даже согласиться, что «риторика» как наука о красноречии в положительном смысле обладает таинственной притягательной силой (ведь каждому хочется научиться говорить и не вредить себе словом), то почему само слово *риторика* приобрело отрицательный смысл, стало синонимом ложного красноречия и фразерства?

Причины постепенного исключения риторики из состава преподавания в середине XIX века были изучены еще академиком В. В. Виноградовым в книге «О художественной прозе» 1930 года — кстати, тогда же В. В. Виноградов призвал к ее возрождению (см.: Избранные труды. О языке художественной прозы. М., 1980). Причины исчезновения риторики в русской научной и школьной традициях рассмотрены также в статье Ю. В. Рождественского «Проблемы риторики в стилистической концепции В. В. Виноградова» (см.: Русский язык. Проблемы художественной речи. Лексикология и лексикография. Виноградовские чтения IX—X. М., 1981).

Риторика XIX века занималась преимущественно описанием высокой книжной речи и не касалась правил бытового диалога, внимание же на реальную жизнь обратили писатели «натуральной школы». Крупнейшие филологи А. А. Потебня, А. Н. Веселовский и революционно-демократическая критика во главе с В. Г. Белинским объявили основным и главнейшим видом словесности художественную литературу, прозу и поэзию, что было прогресс-

сивным для своего времени. Внимание к исторической, научной, деловой, ораторской прозе было ослаблено.

Недостатки в изучении «презренной прозы» остро чувствуются и теперь в организации школьного преподавания: учащиеся читают наизусть «Евгения Онегина», но часто не могут выступить на собрании, не умеют написать письмо или составить деловой документ и — что мы наблюдаем постоянно — плохо владеют бытовой речью. К сожалению, именно эти жизненно необходимые проблемы в школе не изучаются.

Двойственность оценки слова *риторика* сродни противоположным оценкам самой речи: как речь, так и наука о ней могут стать и величайшим благом, и величайшим злом — все зависит от того, как пользоваться языком, или от того, в руках какого человека (высоко нравственного или дурного) оказывается такое мощное оружие, как владение речью. Древнегреческие философы предупреждали, что в риторике доказывается правдоподобие истины в зависимости от характера говорящего и настроения слушающего (Аристотель. *Риторика* // *Античные риторика*. М., 1978). Значит, речевое мастерство можно использовать против честного человека или полезного дела. Вот почему рождалось предубеждение и против риторики как науки о речи и одновременно утверждалось: честный ритор должен иметь правильную философию как верную жизненную позицию, а риторика как наука об убеждении — основываться на этике и нравственности.

Незнание риторики, риторическая невоспитанность могут обернуться незащищенностью и неподготовленностью перед красноречивой агрессивностью. Вот пример из нашей жизни: открытые идеологические дискуссии и споры, проходящие теперь телемосты между представителями СССР и других стран. Советские участники этих встреч, обладая прогрессивной идеологией и даже будучи уверены в своей позиции, иногда оказываются в положении оправдывающихся, поскольку недостаточно владеют искусством убеждения и доказательства в полемическом споре. В культуре американцев, например, риторика является очень важной дисциплиной, они учатся прежде всего владеть речью, доказывать, формировать свой индивидуальный образ оратора. И в школе, и в колледже они проходят курс, называемый «speech» — речь (см.: Радченко В. Н. Изучение речевой коммуникации в современной американской науке // *Риторика и стиль*. М., 1984). Отсюда их раскованность, смелость, ловкое владение аргументацией, готовность противостоять и нападать на оппонентов. Наши же ораторы, в си-

лу присущей им скромности, будто забыли, что речь — это всегда столкновение, борьба. Человека, стоящего на правой позиции и не владеющего словом, можно сравнить с хорошо вооруженным солдатом, в руках которого есть все для победы, но не хватает только одного — умения хорошо стрелять. Получается парадоксальная картина: мы владеем передовой идеологией, но не владеем риторикой, а американцы, владея только риторикой, способны навязать свой стиль жизни и поведения некоторой части нашей молодежи. Борьба за стиль в смысле способности «задавать миру стиль мысли и жизни» (см. статью В. Г. Костомарова «Перестройка и русский язык» // Русская речь. 1987. № 6) связана именно с умением пользоваться языком, если точнее, владением риторикой как практическим искусством убедительной и эффективной речи. Анализируя опыт прошлого, нелишне заметить, что 70 лет назад Страной Советов был предложен миру новый стиль жизни, мышления, человеческих отношений — и во многом благодаря яркости и смелости большевистских идей. Слово партии большевиков оказалось самым действенным и доходчивым. Теперь же слова *демократизация, гласность, перестройка* стали очень популярными во всем мире.

В современной филологии на базе риторики возникли такие ее «преемники», как функциональная стилистика, культура речи, лингвистика текста и т. д. Однако ни одна из перечисленных дисциплин не решает, к сожалению, вопросов науки о речи в полной мере, как риторика. Мы имеем богатейшую риторическую традицию в трудах русских ученых, внимательное изучение которых будет полезным нашему современнику. Археографические поиски рукописных риторик в книгохранилищах Москвы и Ленинграда позволили обнаружить к настоящему времени 36 списков «Риторики» 1620 года, 13 списков старообрядческой «Риторики в 5-ти беседах», 15 списков «Риторики» Михаила Усачева, 30 списков «Риторики» Софрония Лихуды 1698 года, 19 списков «Риторики» Козмы Афонского 1710 года и т. д. Если же говорить о времени расцвета русской риторики в конце XVIII — первой половине XIX века, то содержание и стиль «Риторик» М. М. Сперанского, И. И. Рижского (см.: Русская речь. 1986. № 4; 1984. № 5), А. Ф. Мерзлякова, Н. Ф. Кошанского, К. П. Зеленецкого отличаются глубиной мысли и изысканностью слога.

Школьная педагогика должна была бы обратить на риторику самое большое внимание. Ведь в школе мы учимся именно языку разных наук. Любой учитель (будь он математик или историк, биолог или физик) учит речи и проверяет, как ученик умеет отвечать, слушать, писать. Иногда подростку мешает как раз не-

достаток риторических умений, речевая скованность и стеснительность, от которых, кстати, не может его освободить не обученный в должной мере речевому мастерству современный учитель. Неслучайно вопрос об обучении будущих педагогов культуре речи ставится сейчас очень остро во многих вузах.

Внимательного риторического анализа требует такая распространенная форма современной речи, как выступление на собраниях. Логическая непоследовательность, многословие («в многословии не без пустословия»), неумение сформулировать мысль, наконец, стилистические погрешности — все эти недочеты ведут к потере контакта с аудиторией, не оправдывая ее ожиданий от речи и не приводя оратора к достижению цели.

К сожалению, и публичной речи, и правилам делового, служебного диалога никто не учит, и каждый обычно полагается только на свой опыт. Взять хотя бы диалоги начальника и подчиненного, деловые разговоры коллег при решении производственных проблем: ведь умение управлять коллективом и создать здоровый психологический микроклимат зависит прежде всего от умения построить вежливую, безобидную, уместную, целесообразную речь.

Именно с этой точки зрения (правил ведения речи, а также обучения этим правилам) остается почти неизученным семейно-бытовой диалог. По-видимому, это не случайно: школьные учебники литературы и языка такой прозаической стороны человеческих отношений не касаются. Правда, мы учимся на художественной литературе... Вспомним строки из «Евгения Онегина»:

Как рано мог он лицемерить,
Таить надежду, ревновать...
Как темно был он молчалив,
Как пламенно красноречив...

Ведь это не что иное, как фрагменты риторики любовного диалога, правда, мало соотношенной с этикой и философией.

Современная публицистика, обсуждая проблемы создания и сохранения семьи, занимается нередко поиском «риторических» советов: как выйти из конфликтной ситуации, как вести разговор в разных обстоятельствах, находить контакт, делать замечание, снимать раздражение, поздравлять и т. д. Проблема общения оказывается проблемой номер один для семейного благополучия. Обратите внимание — ведь пожелания новобрачным — не что иное, как риторические наставления: выслушивать друг друга, советоваться, не спорить при разногласиях, не упрекать, не делать

обидных замечаний, уступать, оказывать внимание, вселять уверенность и др. — все это «программы» речевого поведения...

Проблема семейного диалога — это общение с детьми. Ведь ребенок воспитывается словом и развивается через слово. На практике же мы видим, что многим родителям недостает именно риторической изобретательности, умения общаться...

Вот уже долгое время не только филологи, но и социологи, журналисты, психологи ищут пути к такой сфере, как бытовой диалог. «Притчей во языцех» стала речь в транспорте, магазине. Совершенно очевидно, что необходимо говорить об определенных правилах (этикете) в торговом диалоге. То же можно отнести и к ряду других профессий, где речевые действия, умение наладить контакт способствовали бы «производственной» пользе.

Общество вправе ждать от филологов реального вмешательства в речевую практику, практических советов, как улучшить нашу речь и через нее стиль жизни в целом. Для каждого человека должно быть очевидным, что речь — это и компонент его личного жизненного успеха, и залог общесоциального благополучия. Спектр проблем, затрагиваемых понятиями «хорошая, правильная, уместная, убедительная, эффективная речь», достаточно велик. Не все здесь вырисовывается с достаточной ясностью — важно «живсе» ощущение проблем, охватывающих все наши речевые действия: от политического митинга до семейного диалога, от производственного заседания до разговора двух незнакомых людей в автобусе.

О каждом из затронутых в этой статье вопросов, решаемых наукой о речи, можно говорить особо. Риторические исследования вот уже второе десятилетие ведутся, а риторика преподается на кафедре общего, сравнительно-исторического и прикладного языкознания филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова: изучен опыт американской риторики, французской неориторики, японской теории языкового существования, чтобы на базе истории отечественных работ (а интереснейшие из них мы имели уже в 20—30-е годы), учтя современную языковую ситуацию, построить советскую риторику как науку об ораторском мастерстве.

Рисунок Н. Беланова

Из Нормативно- стилистического словаря русского языка

Гражданин — товарищ. Эти слова являются общепринятыми обращениями в современном русском литературном языке.

Слово *товарищ* при обращении к женщине употребляется лишь в официальной речи и требует указания на должность, звание или фамилию: *товарищ продавец, товарищ лектор, товарищ Иванова* и т. п. Без пояснительных слов так мы обращаемся только к незнакомому мужчине: *товарищ, как мне пройти на вокзал?*

Соответствующим обращением к женщине является слово *гражданка*: *гражданка, а где здесь справочное бюро?*

Формула обращения со словами *гражданин* и *гражданка* принята в советском судопроизводстве, в официальной речи юристов (ср. обычное обращение милиционера: «Гражданин!»). Это поддерживается строгой терминологичностью слов в сочетаниях *гражданин СССР, советское гражданство* и т. п.

В послереволюционную эпоху с уничтожением господствующих классов и сословий и в связи с общей революционной демократизацией жизни на смену старым сословным обращениям *господин (госпожа), сударь (сударыня), барышня, мадам* и т. п. пришли слова *гражданин (гражданка)* и *товарищ*, обозначающие равных в своих правах хозяев новой жизни (слово *товарищ* из выражения *товарищ по партии* некоторое время сохранилось как специфическое партийное обращение).

Живая речевая обстановка требует подчас применения описательных вежливых обращений типа *будьте любезны; скажите, пожалуйста* и т. п., которые помогают говорящим обратиться к незнакомым людям в тех случаях, когда обращения *товарищ* или *гражданин (гражданка)* кажутся излишне официальными и, значит, стилистически и ситуативно неуместными.

Девушка. В современной стилистически сниженной обиходно-разговорной речи употребляется в качестве универсального обращения к продавцам, кассирам, кондукторам, телефонисткам и другим работникам сферы обслуживания. В литературной речи со словом *девушка* уместно обращаться (вне описанной официальной

обстановки) только к молодым женщинам или подросткам. В иных случаях применяется слово *товарищ* с названием должности, звания или фамилии: *товарищ продавец, товарищ кондуктор* и т. п.

Женщина — «лицо женского пола». Просторечными, отвергаемыми литературной нормой являются обращения к незнакомым лицам: *женщина, дама* (ср. устарелые — *мадам! сударыня! барышня!*). Не рекомендуется говорить, например, так: «Женщина, как пройти на рынок?»; «Женщина, вы уронили деньги!» и т. п. Сказанное относится и к обращению к незнакомым лицам: «Мужчина!»

Впечатлять — «производить впечатление, оставлять глубокий след». При своем появлении это слово расценивалось как «новое, газетное» (см.: Толковый словарь под ред. Д. Н. Ушакова); в толковых словарях русского языка сопровождается стилистической пометой «разговорное» (см.: 4-томный Словарь русского языка).

В современном языке глагол *впечатлять* употребляется по преимуществу в публицистических текстах, в статьях о литературе и искусстве: «Сцена впечатляет с экрана только тогда, когда она хорошо смонтирована» (Пудовкин. Кинорежиссер и киноматериал), а также с оттенком торжественности: *успехи страны впечатляют* (из газет).

Не рекомендуется употреблять это слово без необходимой стилистической оправданности, в качестве универсального оценочного средства в обычной разговорной речи и т. п. Например: *этот пейзаж впечатляет; ваш поступок меня впечатляет*.

Взойти — войти. В современном литературном языке эти слова различаются по значению и употреблению.

Взойти — «идя, подняться куда-нибудь»: *взойти на гору; взойти на крутой склон; взойти по лестнице на площадку*. В русском литературном языке XIX века глагол *взойти* употреблялся также и в значении «войти, зайти (в помещение)»: *взойти в комнату, взойти в залу* и т. п.

Смещение однокоренных глаголов *войти* и *взойти* нередко встречается в современной устной и письменной речи, однако это противоречит литературной норме. Неправильно, например: *войти на вершину горы* (надо: *взойти на вершину горы*); *взойти в дверь* (надо: *войти в дверь*); *лектор вошел на трибуну* (надо: *взошел на трибуну*).

Ср. также *взбежать* (т. е. «бегом подняться паверх») и *вбежать* (т. е. «бегом ворваться внутрь чего-нибудь»).

Должен ли диалектолог быть этнографом?

А. Ф. Журавлев,
кандидат филологических наук

Нелегкий хлеб лексикографа

Искусство составления словарей относят, и вполне справедливо, к сложнейшим отраслям практического языковедения. Дело здесь не только в безграничности материала, подвергаемого описанию, и трудоемкости его лексикографической обработки. Лексикографа на каждом шагу поджидают «подводные камни». «Рифы» в лексикографической работе столь многочисленны и столь часто не предсказуемы, что вряд ли можно назвать словарь, который полностью был бы свободен от каких-либо погрешностей. Тем важнее научиться обнаруживать эти рифы и обходить их с тем, чтобы «пробопи» в корпусе словаря было как можно меньше.

Какие же проблемы могут возникать перед создателями диалектных словарей?

По характеру лексического и фразеологического материала диалектный словарь — особая, самостоятельная разновидность лексиконов, но по форме анализа лексики и типу словарной статьи он как бы занимает промежуточное положение между толковым одноязычным и переводным двуязычным словарями, и эта жанровая двойственность региональной лексикографии таит в себе немало трудностей для составителя словаря, нередко служит причиной допускаемых в нем неточностей и ошибок.

Посредник между языками...

Обращаясь к переводному двуязычному словарю, мы почти всегда ощущаем, что входим в несколько иной, по сравнению с нашим, мир: слова своего и чужого языка не вполне совпадают по значениям, некоторые элементы нашего мыслительного мира, и тем самым языка, не всякий раз находят адекватные соответствия в другом языке, и, напротив, далеко не всегда в нашем языке, как бы он ни был богат и гибок, находятся эквиваленты понятиям, кристаллизовавшимся в чужезычном слове. Литературный русский язык не имеет однословных соответствий таким, например, иноязычным лексемам, как монгольское *завсарлах* — «вос-

пользоваться свободным временем», *ноохойлох* — «таскать мелкую траву, злаки (для еды и утепления норы — о полевых мышках)», киргизское *у:рт* — «часть щеки, примыкающая к углу губ», или английское *kill* — «давать определенное количество мяса при убое (о скоте)», *tri — sect* — «делить на три равные части» и т. п. Это касается не только языков, неродственных нашему или находящихся в отдаленном с ним родстве, но и близкородственных языков, сравним болгарские *клекна* — «присесть на корточки», *молясам* — «оказаться преденным молью (о тканях)» или белорусские *наедак* — «количество еды, достаточное для насыщения», *прыкленчыць* — «стать на колени», *пайчварта* — «три с половиной» и т. п. Несходства в членении разными языками одной и той же действительности традиционно иллюстрируются несовпадением шкал цветообозначений: русский язык зону синего цвета делит на собственно синюю и голубую, чего нет в английском, немецком или французском, а тюркские языки одним словом обозначают синюю и зеленую части спектра.

В случаях, аналогичных перечисленным, мы имеем дело с семантикой, не связанной или почти не связанной с типом культуры, которая характеризует тот или иной народ. Межъязыковые несоответствия подобного рода сравнительно немногочисленны и в общем нерегулярны: они есть, но их могло бы и не быть.

Однако положение резко меняется, когда дело начинает касаться лексических и семантических различий, обусловленных несходством культурных типов, к которым принадлежат народы, говорящие на сравниваемых нами языках. Расхождений или, точнее, «схождений» между языками, вызванных культурными различиями — в одежде, гастрономии, технологии, традициях, верованиях, социальных установлениях и так далее, — несравненно больше, чем в лексике, описывающей внешний физический мир и, так сказать, «универсальные» человеческие проявления. В таких случаях статьи переводного двуязычного словаря начинают уподобляться статьям толкового или даже энциклопедического словаря: сравним болгарские *двадесетаче* — «монета в двадцать стотиннок», *розоварница* — «помещение, где варят розовое масло», *горещници* — «три последних дня в конце июля, которые в народе считаются самыми жаркими», английские *chantry* — «вклад, оставленный на отправление заупокойных месс (по завещателе)», *rasher* — «тонкий ломтик бекона или ветчины», *Jack-in-the-green* — «мужчина или мальчик в убранстве из ивовых ветвей и зеленых листьев (в праздник весны)» и т. п. Понятно, что чем значительнее различия между культурами, тем большее число статей энциклопедического характера будет в переводном словаре — «посреднике» между языками,

обеспечивающими функционирование этих культур (направление в языкознании, исследующее отношения языка и культурного типа, называют этнолингвистикой; одно из ее ответвлений, затрагивающее эти отношения в связи с целями преподавания иностранных языков, получило у нас наименование лингвострановедения и в настоящее время весьма интенсивно внедряется в учебную практику).

Региональный словарь — посредник между культурами

Диалектный словарь, в сущности, тоже является «посредником» между разными культурами, — двумя, если речь идет о словаре одного говора, или многими, если имеются в виду сводные лексиконы типа словаря В. И. Даля или «Словаря русских народных говоров», издаваемого с 1965 года и насчитывающего уже 23 тома (до буквы «О»). Опасность недооценки разности между культурой, описываемой диалектным словарем, и культурой, к которой принадлежит его составитель, несравненно большая, чем в случае с переводным двуязычным словарем. Там лексикограф постоянно помнит о дистанциях, разделяющих его собственный язык и культуру — и язык и культуру, являющиеся объектом словаря, в его сознании как бы постоянно включено контролирующее устройство: описывается заведомо чужое. Когда же составитель делает словарь хотя и диалекта, но все же диалекта своего языка, есть опасение, что чувство дистанции может ему изменить: «своеязычие» описываемого диалекта может заслонить то существенное, что различает язык-объект (т. е. диалект, говор) и язык лексикографического описания (литературный). Бессознательная переоценка сходства приводит иной раз лексикографа к ошибочным решениям.

Должен ли диалектолог знать все?

Соплюсь на пример, о котором мне уже приходилось писать (в сб. «Этимология. 1984». М., 1983. С. 80—81). В современном литературном русском языке слово *обыденный* означает «повседневный, обыкновенный, заурядный». Это значение новое, еще в середине XIX века в литературном языке преобладало первоначальное — «однодневный, сделанный или рассчитанный на совершение в течение одного дня, одних суток», которое сохраняется и в современных народных говорах: подмосковное *обыдённое тесто* — это «тесто, из которого пекут в тот же день, в какой оно поставлено»; подмосковное, рязанское, донское и др. *обыдёнкой* — «в течение одного дня, в тот же день» (например, *съездить куда-либо обыдёнкой*) и т. п. Те же значения у родственных слов отмечаются в говорах белорусского и украинского языков. Что же касается

нового значения «обыкновенный, повседневный», то оно, насколько можно судить по имеющимся диалектологическим материалам, народным говорам восточнославянских языков практически неизвестно.

Однодневным, «обыдѣнным» предметам, по причине их новизны, неоскверненности соприкосновением с вещами «нечистыми», в еще сравнительно недавнем прошлом в глазах носителей традиционной культуры приписывалась особая, сакральная чистота. Вследствие этого «обыдѣнные» реалии широко применялись в очистительных и предупредительных обрядах, исполнявшихся по случаю эпидемий, мора на скот, засухи и др.: обыдѣнные холсты (которые прялись и ткались женщинами всей деревни в течение дня или ночи, от зари до зари, с последующим жертвованием в церковь, опоясыванием ими церковного здания, расстиланием поперек дороги и перегонном через них больной скотины и т. п.), обыдѣнные рушники, сети, древнерусские обыдѣнные храмы (деревянные церкви, строившиеся и освящавшиеся в течение одного дня во время повальных болезней) и т. д.

В «Словаре фразеологизмов и иных устойчивых словосочетаний русских говоров Сибири» Н. Т. Бухаревой и А. И. Федорова (Новосибирск, 1972) и «Словаре русских говоров Новосибирской области» (Новосибирск, 1979) приводится выражение *обыдѣнная рубаха*. Диалектная запись, сделанная в Сузунском районе Новосибирской области и приводимая словарями в качестве иллюстрации, недвусмысленно указывает на ритуальный, обрядовый характер называемой этим выражением реалии: «Трясовица (лихорадка. — А. Ж.) раньше ходила, так женщины в один день лен намяли, напняли и рубашку сшили, это обыдѣнная рубаха». Казалось бы, сказано все, что необходимо для правильного понимания значения этого обрядового термина. Однако его толкование в упомянутых словарях выглядит следующим образом: «рубашка, быстро и просто сшитая из домотканого полотна для повседневной носки». Несоответствие словарного толкования значению выражения просто вопиющее. Диалектному ритуальному термину, вопреки историческому материалу и всякой логике, приписывается современное стандартное литературное значение. Настолько велики сила инерции, ослепление тем, что мы назвали «своеязычием» диалекта, что составители словарей проглядели диктуемое иллюстрацией верное понимание диалектного слова. Близость народного говора и литературного языка была здесь лексикографом явно переоценена.

Конечно, можно возразить, что лексикограф — не специалист в области этнографии и может просто не знать о существовании в

прошлом очистительных обрядов с использованием однодневных реалий. Этот аргумент вряд ли можно признать сколько-нибудь состоятельным. Разумеется, требовать от диалектолога полноты конкретных этнографических знаний по всем без исключения сферам народной жизни нельзя. Но в приведенном примере на необходимое понимание термина наталкивает диалектная запись, она и должна была надоумить лексикографа, что требуется дополнительный поиск. В этом случае у составителя толкования просто не сработало чувство дистанции между литературным языком и диалектом, «контролирующее устройство» оказалось невключенным.

Лингвистическое или энциклопедическое?

В лексикографии принято разграничивать два типа словарных толкований: лингвистическое и энциклопедическое. Первое определяет значение слова, второе описывает называемый этим словом предмет. Значение данного слова устанавливается его соотносением с понятием и указанием на его место в лексической системе языка, на его связи с другими словами в данном лексическом ряду (например, *рубль — копейка, двугривенный, червонец...* или *рубль — золотой, крона, драхма, динар, крузейро...*). Поэтому лингвистическое определение должно включать в себя лишь минимальное число отличительных признаков предмета, достаточных для того, чтобы он был выделен из ряда однотипных. Объем же энциклопедических сведений в принципе не ограничен. Например, слово *золотой* в лингвистическом (толковом) словаре определяется как «денежная единица Польши», а сведения о делении золотого на 100 грошей и его курсе по отношению к рублю или иным валютам относятся к энциклопедическому знанию.

Как быть с диалектными словами, обозначающими этнографические реалии? Ведь составителю регионального словаря далеко не всегда ясны соотношения данного слова с другими членами лексико-семантической группы вследствие неизбежной неполноты наших представлений о диалектной лексике вообще, не всегда понятно из диалектологической записи, какие признаки в значении слова являются главными, какие второстепенными. В подобных случаях описание значения слова целесообразно делать с некоторым «запасом», помещая в него какую-то часть признаков, могущих носить не собственно лингвистический, а энциклопедический, «фофочный» характер. Мне представляется, что в некоторой избыточности толкований в региональных словарях большой беды нет. Разумеется, словарная статья должна быть компактной, а ее структура — лингвистически оправданной. Однако не следует за-

бывать, что лингвистическое определение легче вывести из энциклопедического описания предмета, нежели «домысливать» его. Избыточность толкования, несомненно, лучше, чем его недостаточность. К тому же, и на это хотелось бы обратить особое внимание, диалектный словарь — один из своеобразных, но очень существенных источников сведений по этнографии. Данные по истории и географии культуры, извлекаемые из региональных лексиконов, носят ли они уникальный или массовый характер, — бесценны.

Нужно ли доверять самому себе?

Еще один пример. На части территорий бывших Смоленской, Калужской, Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской губерний был распространен обычай, носивший название *молить корову*. Смысл его состоит в следующем. После отела корова некоторое время считается нечистой и ее молоко в пищу не употребляется. По истечении определенного срока, обычно от трех до двенадцати удоев, на молоке отелившейся коровы варится каша, которая торжественно, с молитвой за корову и теленка, съедается всей семьей, при этом часть каши скармливается самой корове. После описанной ритуальной трапезы корова считается чистой, и ее молоко допускается в обычную пищу. Ритуал в разных местах известен с некоторыми вариациями, однако повсюду его центральным моментом является обрядовая трапеза.

В «Словаре русских народных говоров» (М., 1978) выражение *молить корову* толкуется следующим образом: «Обряд моления за отелившуюся корову и теленка, совершаемый старшей женщиной в доме». Акцент делается, нетрудно заметить, на произнесении молитвы. Упоминания о молоке, каше и трапезе, а также о цели обряда, в толковании нет, хотя в источнике, на который опирается в данном случае словарь, такое упоминание, естественно, имеется.

Опущение указания на ритуальную трапезу и ее смысл в толковании фразеологизма *молить корову* является ошибочным. И вот почему.

В Воронежской и Тамбовской губерниях было зафиксировано выражение *молить кашу* с тем же значением, что и *молить корову*. Между этими двумя фразеологизмами, безусловно, существуют отношения производности. Но какой именно из них является первичным, а какой производным? Предположение о вторичности выражения *молить кашу* допускает его меньшая встречаемость. Но это малозначительно, важнее другое.

Большой интерес в этой связи представляет наличие в русских диалектах у глагола *молить* и его производных значения

«забивать, резать, колоть, убивать (скотину, птицу), в частности к некоторым праздникам». Оно отмечено в ряде северновеликорусских (вятских, пермских, вологодских) и южновеликорусских (воронежских, курских, орловских) говорах. Заметим, что южнорусский ареал значения «забивать, резать» у глагола *молить* частично совпадает с ареалом фразеологизма *молить корову* «править новотел», что говорит об их связанности.

Макс Фасмер, выдающийся историк славянской лексики, автор известного этимологического словаря русского языка, слова *молить* — «просить, умолять, обращаться (словесную) молитву» и *молить* — «бить, колоть (скотину)» считал этимологически различными, не связанными, исходя из того, что *молить* во втором значении следует понимать не только как закалывание животного, приуроченное к какому-то определенному празднику, но и обычный забой скотины. Это мнение все же неосновательно. Нужно согласиться с теми этимологами, которые признают этимологическое тождество обоих слов. И действительно, эти значения легко согласуются между собою, если предположить, что они развились из первоначального — «приносить жертву». Во-первых, это решение напрашивается хотя бы из того, что *моление* часто представляет собою именно ритуальное, календарно приуроченное умерщвление животного, а во-вторых, значение праславянского * *modliti* «приносить жертву» (из * *molditi* с метатезой (перестановкой) согласных, вызванной, как предполагается, табуистическими причинами) подтверждается хеттским соответствием *malda(i)* «просить что-либо у богов, обещая жертву» (на этимологическую связь славянского и хеттского слов обратил в свое время внимание Э. Бенвенист и позже Вяч. Вс. Иванов). При этом допущении находят свое объяснение и выражения *моленое пиво*, *моленая кутья*, а также значение «пробовать, отведывать» у глагола *молить* в тверских говорах, ср. еще астраханскую поговорку *за сто верст киселя молить*.

В южнорусских фразеологизмах типа *молить корову* «править новотел, с приготовлением каши» сохраняются отголоски умолятельных жертвоприношений животными (правда, неизвестно, по какому поводу), а выражение *молить кашу*, вполне возможно, отражает позднейшую замену кровавой жертвы бескровной. Впоследствии ритуал «моления каши» в том виде, в каком донесли его до нас этнографические описания, закрепился в цикле обрядов, приуроченных к отелу.

Вот почему толкование фразеологизма *молить корову* в «Словаре русских народных говоров» с упоминанием ритуальной трапезы, хотя источник такое упоминание включал, представляется глубоко ошибочным. Составители словаря доверились собствен-

ному, «современному» знаник (или, точнее сказать, незнанию) реалий и тем самым значительно обеднили и даже исказили толкование ритуального термина, сохраняющего элементы древней семантики.

Так кем же должен быть диалектолог?

В приведенных примерах диалектолог-лексикограф, давая определения диалектным ритуальным терминам, исходил не из системы значений диалекта, а из лучше известной ему семантической системы литературного языка. И в том и в другом случае сработал автоматизм мышления, составителю не хватило исследовательской интуиции и умения взглянуть на имеющийся лингвистический материал как бы глазами этнографа — «со стороны». Я подчеркиваю, что истинная причина ошибок здесь не в незнании диалектологом конкретных этнографических фактов (все знать невозможно), а в исследовательской установке.

Так кем же должен быть диалектолог? Специалист по диалектной лексикологии и лексикографии должен оставаться лингвистом, но в своей практической деятельности он постоянно обязан учитывать возможность несовпадения элементов описываемой им культуры с элементами той культуры, к которой принадлежит сам исследователь. Непредвзятое зрение, свойственное этнографу по самой сущности его профессии, умение увидеть «свое как чужое» — вот к выработке чего должен стремиться диалектолог-лексикограф. В этом смысле ответ на вопрос, должен ли быть диалектолог этнографом, — безусловно положительный. Более того, этнография должна быть непременной составляющей профессионального образования диалектолога.

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«Слово *чухонец* (у Пушкина: „приют убогого чухонца“) имеет какое-нибудь отношение к названию *Чудское озеро*?»

Л. И. Новожилова, *Ленинград*

Да, имеет. Название *Чудское озеро* произошло от слова *чудь*. Так в древнерусских летописях назывались эстонские и угро-финские племена, жившие во владениях Новгорода Великого к востоку от Онежского озера. *Чухонец* (*чухна*) — пренебрежительное название финнов, образовано от слова *чудь* при помощи экспрессивного суффикса *-гна-*.



Словарь русского литературного словоупотребления

Выход в свет любого справочного пособия в наше время, в эпоху НТР, когда люди разных профессий с обостренным интересом и все возрастающей ответственностью относятся к родному языку, — это всегда событие. Тем более, если это пособие регистрирует и предлагает решения особенно сложной и актуальной области — современного словоупотребления русского языка. Можно с уверенностью сказать, что сейчас есть потребность в работах, практически решающих проблемы нормализации русского языка. Ответом на эту социальную необходимость и явилась новая книга — «Словарь русского литературного словоупотребления» (Киев: Наукова думка, 1987), подготовленная коллективом сотрудников Отдела русского языка Института языковедения имени А. А. Потебни АН УССР.

Новый словарь продолжает традицию нормативных слова-

рей правильности русского языка, но в то же время открывает в работах этого цикла новое направление: регистрирует трудные случаи словоупотребления, возникающие в русской речи, звучащей в условиях украинско-русского двуязычия. И в этом принципиальная новизна вышедшей книги.

В Словаре представлены языковые явления, которые подлежат в оценке с точки зрения правильности — неправильности, уместности — неуместности их употребления или вызывают трудности в области акцентологии, произношения, словоупотребления, грамматической характеристики. Словарь ориентирован на предупреждение тех ошибок, которые возникают в русской речи лиц, практически владеющих основами литературной нормы, но допускающих определенные отклонения под влиянием активного владения украинским языком.

В Словаре 3346 словарных статей. Это в основном слова, употребление которых характеризуется устойчивыми и регулярными ошибками, вызываемыми влиянием соответствующих украинских слов. Так, различием в ударении определяется включение слов *верба*, *доска*, *ремень*, *легко*, *высоко*, *благоволить*, *воскрешённый*, *вручённый*, *огненный*, *обувной*, *товарищество*; лексико-семантических характеристик — *неделя*; словообразовательных — *рыбак* («рыболов»), (ср. укр. *рыбалка* в значении «рыбак»), *рыбалка* «рыбная ловля»; морфологических — *собака*, -и, ж. (не *собак*, -и, м.), *пóхороны* (не *пóхорон*) и др.; синтаксических и стилистических — предлогов (*в* и *у*, *в* и *до*, *из* и *с*), отдельных слов и конструкций.

Читатель найдет и те речевые факты, которые испытывают колебания и ведут к нарушению норм литературного словоупотребления под воздействием просторечия и диалектной речи русского языка, что, как правило, является следствием недостаточно высокой культуры речи говорящих и пишущих. Например, употребление слов *пальто*, *кино*, *депо*, *такси* и форм слов *калмыков*, *таджики* и *башкир*, *осети*; словообразовательных вариантов *атомник* — *атомщик*, *отображение* — *отражение*, *отломить* — *отломать*, *модернизированный* — *модернизованный*, *межсоюзный* — *межсо-*

юзнический, *измена* — *изменничество* и др.

Все слова сопровождаются знаком ударения, и во всех случаях, вызывающих трудности при определении или употреблении, даются грамматические характеристики: *кинó*, нескл., ср.; *кédы*, род. *кédов* и доп. *кед*, мн. (ед. *кед*, -а, м.); *лекáрство*, -а; мн. *лекáрства*, род. *лекáрств* (не *лекáрство*в).

Это издание подготовлено на очень большом материале: в нем использованы различного рода словари русского языка, украинско-русские и русско-украинские, грамматики, работы по культуре русской речи. Большинство статей иллюстрируется цитатами из современной и классической художественной литературы, газетных и журнальных статей, радио- и телевизионных передач, а также записей русской устной речи на Украине.

Самостоятельную ценность имеет «Приложение», в котором дан анализ специфических особенностей фонетической и грамматической системы русского языка, которые прежде всего отличают ее от украинского языка. Это произношение взрывного [г], губно-зубного [в], звуков [ч], [ц] и др.; отдельных грамматических форм — окончания род. падежа единственного числа имен прилагательных; вариативность окончаний -а и -у в формах род. падежа единственного числа существитель-

ных; употребление и правописание неофициальных названий на *-чина, -щина*, особенно активно проникающих в русскую речь на Украине, и др.

«Словарь русского литературного словоупотребления» — это первая обобщающая работа, которая зарегистрировала изменения и отклонения от нормы русского языка, функционирующего в условиях активного двуязычия, и дала им соответствующую

оценку. В нашей многонациональной стране, где русский язык является средством межнационального общения, необходимость в таких изданиях очень велика. Можно надеяться, что новый Словарь укажет путь работам этого направления.

Г. И. Миськевич,
кандидат филологических наук

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«Однокоренные ли слова *исконный* и *законный* и каково их происхождение?»

Д. Каримов, Самарканд

Слова *исконный* — «ископи существующий, изначальный; постоянный, коренной» и *законный* — «соответствующий закону, основанный на законе, справедливый, правильный, обоснованный» исторически безусловно однокоренные и восходят в конечном итоге к слову *кон*. В современном русском литературном языке *кон* имеет значения: черта, указывающая определенное место в некоторых играх (в городки, бабки и т. д.), а также очерченное место, куда надо попасть бросаемым предметом; ряд расставленных на таком месте в определенном порядке фигур (бабок и др.). Однако ранее это слово имело да и сейчас имеет в некоторых русских диалектах значение «начало», «начать». Сравните: *исконный* — *изначальный*, *искони* — *с самого начала*. Этимологи считают его родственным также латинскому *gesens* «свежий, бодрый, недавний», ирландскому *cinim* «я возникаю» и т. д.

Интересно, что слово *закон*, по мнению этимологов, когда-то тоже значило «начало».

Богатырь русской филологии

К 150-летию со дня рождения А. Н. Веселовского

С. Н. Азбелев,
доктор филологических наук



Академик по Отделению русского языка и словесности, профессор Александр Николаевич Веселовский имел благодарных учеников. Один из них, отзываясь на кончину учителя, писал, что «Веселовский может стать рядом с самыми замечательными учеными всех времен и народов», и так заканчивал свою статью: «Много много лет тому назад другой русский профессор, академик и поэт Ломоносов, призывал молодежь и общество спешить доказать миру,

Что может собственных
Платонов

И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать!

Александр Николаевич в своей области и был ответом на зов старинного певца» (Петров Д. К. А. Н. Веселовский и его историческая поэтика. — Журнал Министерства народного просвещения. 1907. № 4).

Александр Веселовский родился в интеллигентной семье военного педагога. Он получил сначала домашнее образование, немаловажная роль в котором принадлежала иностранным языкам. После окончания гимназии он в шестнадцать лет стал студентом Московского университета. Окончив словесный факультет с золотой медалью в 1858 году, Веселовский получил степень кандидата и был оставлен в университете при кафедре классической филологии.

В 1859—1867 годах Веселовскому довелось побывать в Италии, Франции, Англии, Германии, Чехии, Сербии. Там он изучал древнегерманский и древнескандинавский языки, языки и литературу славянских народов.

Осенью 1868 года Веселовский вернулся в Россию. После

защиты магистерской диссертации, посвященной итальянскому Возрождению, в 1870 году стал доцентом Петербургского университета. Здесь через два года защитил докторскую диссертацию «Из истории литературного общения Востока и Запада. Славянские сказания о Соломоне и Китоврасе и западные легенды о Морольфе и Мерлине». После защиты он стал профессором университета.

В 1876 году Веселовского избрали членом - корреспондентом Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук; через четыре года — академиком. Веселовский был членом зарубежных академий и различных научных обществ.

Возглавив в университете кафедру всеобщей литературы, Веселовский расширил программу преподавания в сторону языков. Он организовал нефилологическое общество, вокруг которого сгруппировались интересовавшиеся вопросами литературы и языка «как университетские, так и внеуниверситетские силы» (Шишмарев В. Ф. Александр Николаевич Веселовский // Изв. АН СССР. Отделение общественных наук. 1938. № 4).

Список изданных трудов А. Н. Веселовского насчитывает 280 отдельных публикаций. Но дело, разумеется, не в количестве, а в значении их.

Веселовский справедливо признан основоположником срав-

нительно-исторического метода в исследовании явлений словесного искусства (Горский И. К. Александр Веселовский и современность. М., 1975). Он выступил со своей теоретической программой уже в 1870 году и дальнейшими своими трудами подтвердил ее плодотворность. «Изучая ряды фактов,— писал Веселовский,— мы замечаем их последовательность, отношение между ними последующего и предыдущего; если это отношение повторяется, мы начинаем подозревать в нем известную законность; если оно повторяется часто, мы перестаем говорить о предыдущем и последующем, заменяя их выражением причины и следствия...; чем более таких проверочных повторений, тем более вероятно, что полученное обобщение подойдет к точности закона» (Веселовский А. Н. Историческая поэтика).

В статье о методологическом значении трудов Веселовского академик В. М. Истрин писал: «Цель всей научной деятельности Веселовского — отыскание законов творчества человеческого слова. Но он искал их не в теории, а в истории. Это направляло его к необходимости проследивать жизнь делого поэтического рода на протяжении всей его истории. Эта же история состояла из истории отдельных литературных произведений... Но последние — будут ли те устные, пародные или письменные — имели за собой так-

же длинную историю... — народная в разнообразных записях, письменная — в рукописях. Исследование идет все дальше и доходит до анализа мелких вариантов. Здесь оно останавливается и идет обратным путем: восстанавливается предшествующая история отдельного произведения, выбираются из нее данные для воссоздания... истории целого литературного рода, а отсюда уже следующий шаг — к установлению законов творчества...» (Истрин В. М. Методологическое значение работ А. Н. Веселовского).

В наследии Веселовского много трудов посвящено средневековой русской словесности: это «Южнорусские былины», «Мелкие заметки к былинам», «Разыскания в области русских духовных стихов», ряд обособленных работ о былинах, о сказках, о многих памятниках древнерусской литературы, о соотносенных с ними произведениях литератур инославянских.

Новая русская литература представлена в его трудах большой монографией о Жуковском, статьей «Пушкин — национальный поэт» и рядом других работ.

Веселовский интенсивно занимался литературами и устной поэзией европейских и других народов, а его лекционные курсы синтезировали огромное количество проработанных материалов.

К сожалению, ученый не

успел завершить и подготовить к изданию свои теоретические труды. Однако опубликованные им работы об эпитетах, об эпических повторениях, о психологическом параллелизме и некоторые другие, в особенности же — «главы из исторической поэтики» и посмертно напечатанная (не полностью) конспективная «Поэтика сюжетов», а также остающийся пока неизданным обширный конспект истории народного эпоса, имеют непреходящую теоретическую ценность в истории филологической науки.

Ученик Веселовского Д. К. Петров, говоря о методическом значении трудов своего учителя (и ссылаясь на собственные его слова), справедливо полагал, что «определению методов» у Веселовского «в высокой степени способствовали лингвистика, сравнительное языковедение, общая наука о языке». Влияния, шедшие от Ф. И. Буслаева, А. Н. Пыпина и других историков литературы, «встретились с влияниями языковедов, и из сочетания их, укрепленного собственным гением, и образовалась поэтика Веселовского» (Петров Д. К. А. Н. Веселовский и его историческая поэтика).

В свою очередь обнаружилось, что труды Веселовского по поэтике оказались нужны языковедам. Уже полвека назад В. Ф. Шишмарев, заметив, что сам Веселовский «ограничил... свое отношение к лингвистике

областью преподавания средневековых европейских языков... да этимологическими догадками, рассыпанными по его многочисленным работам», показывает вместе с тем, что по существу поэта Илья Веселовского «стоит на грани лингвистики», а «статьи ее, посвященные элементам стиля, эпитету, психологическому параллелизму, эпическим повторениям», и другие — не только «соприкасаются с лингвистикой непосредственно», но и могут быть «использованы лингвистом» (Шишмарев В. Ф. Н. Я. Марр и А. Н. Веселовский. — Язык и мышление. VIII. М.—Л., 1937).

Этимологические догадки Веселовского не всегда получали поддержку в работах его современников. Такова, например, гипотеза относительно прозвища Илья Муромца, которое в записях и свидетельствах XVI — XVIII веков имеет формы *Муровец*, *Моровец*, *Муравлин*, *Моровлин*. Веселовский в 15-й статье серии «Мелких заметок к былинам» привлек житие Стефана Сурожского, где речь идет об историческом событии первой половины IX века; предводитель русской рати именуется здесь *Бравлин*. Веселовский предположил, что это искаженное *Мравлин*, то есть *Моровлин*; такая догадка дала ему дополнительный материал при использовании данных немецкого эпоса об *Илье Русском*, в котором Веселовский видел отображение

Ильи русских былин (Веселовский А. Н. Кто такой Бравлин в житии св. Стефана Сурожского? — Журнал Министерства народного просвещения. 1890. Ч. 168. № 3).

Этимологическая догадка была поддержана М. Г. Халапским (использовавшим ее для иных выводов), но оспорена В. Ф. Миллером. Позднейшие исследователи, не поддерживая этимологического предположения Веселовского, разделяли его уверенность, что в германском средневековом эпосе отобразился не кто иной, как былинный Илья Муромец.

Другая этимологическая гипотеза Веселовского — относительно странного отчества мало-симпатичного былинного персонажа Чурилы Пленковича, выводившая на основе ряда сопоставлений *пленк* из *френк*, позволила ученому связать происхождение этого эпического образа с городом Сурожем в Крыму (Веселовский А. Н. Южнорусские былины. III—XI — Сборник Отделения русского языка и словесности имп. Академии наук. СПб., 1884. Т. 36. № 3). Здесь вплоть до XV века были фактории генуэзских купцов — *фряжских*, *френских*, согласно терминологии славянских памятников и румынских песен. Сурож имел тесные связи с древним Киевом, позднее — с Москвой; существовали русские купцы-сурожане. Мнение Веселовского было оспорено

В. Ф. Миллером, предполагавшим иное происхождение былинного образа. Но через сорок лет после работы Веселовского появилась статья В. Ф. Ржиги, который нашел в рукописи XVI века подтверждение гипотезы относительно сурожского происхождения Чурилы (Ржига В. Ф. О Чуриле Плепковиче.— Известия Отделения русского языка и словесности Российской Академии наук. Пг., 1923. Т. 28).

Веселовский был филологом в самом широком смысле слова. Владя большинством европейских языков — как новых, так и средневековых (и — не только европейскими), владея языками классической древности, он свободно оперировал колоссальным сравнительным материалом памятников словесного искусства многих народов.

Но главное значение трудов Веселовского для истории науки все же не в этих, хотя и феноменальных подчас, проявлениях могучего интеллекта.

Вся деятельность его была подчинена цели, которую без преувеличения можно назвать гигантской: установить всеобщие закономерности словесного искусства на всем протяжении истории.

Каков был этот ученый в жизни? Вот одно из свидетельств, написанных вскоре после кончины Веселовского: «Его жизнь протекала тихо, однообразно и очень скромно — в ка-

бинете среди книг или в очень тесном кругу друзей... Она кажется нам замечательно цельной: вся — в неудержимом, напряженном, страстном порыве к знанию. Мы видели все в нем — и маэстро в полном смысле слова, и русского по размахам и томлению, и идеалиста — шестидесятника по душевной выправке своей. Он с лаской матери холил науку, берег ее, внушал молодому поколению любовь к ней» (Трубицын Н. Н. Александр Николаевич Веселовский.— Известия Отделения русского языка и словесности имп. Академии наук. СПб., 1907. Т. 12. Кн. 3).

Веселовский был связан не только с учениками, но и с коллегами всего мира. Его архив хранит письма нескольких сотен людей, среди которых крупнейшие ученые не только России. Это наследие еще ждет своего изучения. Но уже первое знакомство с ним позволяет видеть, что товарищи по Университету обращались к нему не только за научным советом, но и с бытовыми просьбами...

Приведем еще слова автора книги о Веселовском, появившейся через 18 лет после его смерти: «Спокойной ясностью и неизменным доброжелательством к людям проникнут весь его облик. Глубоким душевным здоровьем, песокоушимой жизненной силой и энергией веет от этой, немного неуклюжей, неповоротливой, но крепкой и

мощной фигуры. И вглядываясь в эти блестящие, «лучезарные» глаза, прислушиваясь к этому уверенному и властному голосу, вникая в эту неторопливую и также немного неуклюжую речь, где внешняя ясность построения принесена в жертву адекватному выражению осторожной и точной мысли, вы чувствуете, что перед вами человек, который действительно может поднять на плечи огромную тяжесть несозданной русской науки о литературе, перекопать слой за слоем исторические залежи литературных явлений, исполнить то „дело“, к которому он неустанно и непрерывно готовится с университетской скамьи» (Энгельгардт Б. М. Александр Николаевич Веселовский. Пг., 1924).

Неутомимый труженик, обладавший огромной творческой энергией и целеустремленностью, Веселовский за отпущенный ему срок жизни не сумел выполнить до конца поставленную перед собой задачу. Знание исторической поэтики осталось недостроенным.

Подобно былинному Микуле Селяниновичу, Александр Веселовский сам вспахивал свое гигантское поле. Никто из его последователей не в силах был поднять богатырскую «сошку», которой так уверенно орудовал этот подвижник русской науки. Однако пашня, засеянная семенами научной истины, дает пещудеющий урожай.

Ленинград

Рисунок С. Жагина

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«Как возникло выражение „крокодиловы слезы“? Почему именно „крокодиловы“?»

А. Тумин, Мытищи, Московской обл.

Объяснение находим в книге Н. С. и М. Г. Ашукиных «Крылатые слова».

Выражение это основано на древнем поверье, будто у крокодила перед тем, как он съест свою жертву, текут слезы. Об этом рассказывается и в произведениях древней русской письменности. В «Повести бывшего посольства в Португальской земле» (XVII век) упоминается «притворный в слезах крокодил». Отсюда и значение «крокодиловых слез» — лицемерные слезы, притворное сожаление.

Без комплиментов...

Э. А. Григорян,
кандидат филологических наук

Термин *гармоническое* в характеристике национально-русского двуязычия в советском языкознании получил довольно широкое применение. Несмотря, однако, на безоговорочное употребление этого определения, смысл его остается в известной мере нераскрытым.

Широко распространена точка зрения на гармоничность как на возможность использовать русский язык наряду с языком своей национальности (Михайловская Н. Г. О национально-русском гармоническом двуязычии). Часто всем аспектам двуязычия — и прежде всего функциональным — приписывается некое равновесие, которое трактуется как безусловная гармония («обслуживание» сфер общения, непротиворечивость внутривидового развития контактирующих языков, просвещенческое, культурное и литературное равенство).

Понятие гармонии иногда распространяется и на уровень владения русским языком в условиях различных видов двуязычия. В связи с этим исследователи ставят вопрос об определении той степени владения русским языком билингвами, которую можно отнести к гармоническому двуязычию. Этот вопрос, к сожалению, практически не исследован, хотя недостатка в высказываемых точках зрения нет. Конечно, реально сложившееся в СССР национально-русское двуязычие уникально и имеет большое значение для теории и практики языкового строительства. Но ограничиваться констатацией этого факта, декларируя гармонический характер национально-русского двуязычия, не обращая внимания на бесспорные факты отсутствия функциональной равнозначности различных языков в условиях такого двуязычия, а также на неудовлетворительный уровень владения русским языком в различных регионах — значит сводить многообразную языковую жизнь народов СССР к идеализическому, ничем не омраченному сосуществованию языков.

Вопрос о языковой жизни в многонациональном государстве сам по себе не нов. В мире есть множество примеров разрешения

проблемы языкового барьера. Языковое строительство в нашей стране преследует также цель преодоления языкового барьера на основе демократического равноправия огромного количества языков (практически всех наций и народностей, проживающих в СССР). Основным принципом, положенным в основу национальных отношений еще на заре становления Советского государства, заключается в безусловном отказе от всяких привилегий для любого из языков. Но, с другой стороны, многонациональное государство и его общественные институты не могут обойтись без единого средства общения (чаще всего это язык одной из национальностей, представленных в его составе). Как совместить эти две тенденции? Ведь всякая волевая попытка придать одному из национальных языков статус всеобщего средства общения была бы воспринята представителями других национальностей и народностей (даже самых малых этнических групп) как привилегия этого языка и дискриминация их родных языков. К тому же, если припудрительно закрепить одну или несколько пусть даже жизненно важных, с государственной точки зрения, социальных сфер за одним из языков, то остальные, не обслуживая эти сферы, не выработали бы соответствующего подъязыка, фактически остановились бы в своем развитии.

Равноправие языков при сложившемся национально-русском двуязычии — единственно возможный путь в сложившейся национально-языковой ситуации. Но это равноправие не может быть истолковано как одинаковая функциональная значимость языков. Многие лингвисты из боязни поколебать тезис о равноправии языков именно так и поступают и даже считают одинаковую функциональную нагрузку языков наиболее существенной чертой национально-русского двуязычия, определяющей его гармонический характер. Между тем всякий, кто имеет возможность наблюдать языковую жизнь в условиях различных видов двуязычия (не говоря уже о специальных исследованиях), непосредственно сталкивается с распределением функций языков и проблемой выбора языка общения. Так, исследователь лакско-русского двуязычия А. А. Абдулаев пишет, что телевидение в Дагестане в основном функционирует на русском языке, делопроизводство в селениях и районных учреждениях ведется на родном языке, а официальные документы республиканского значения на русском; сфера судопроизводства обслуживается лакским языком, протоколы оформляются на русском, чтобы облегчить возможное дальнейшее продолжение дел в масштабе республики (Русский язык в национальной школе. 1984. № 2).

Использование того или иного языка в каждом регионе диктуется конкретными условиями и нуждами. Одно очевидно: распределение функций языков в условиях национально-русского двуязычия — реальная действительность.

Если же трактовать гармонию в двуязычии как равенство языков в функциональном плане, то окажется, что оно далеко не всегда существует. Распределение функций контактирующих языков, разная степень интенсивности обслуживания ими различных сфер общения являются социально обусловленными процессами. Основная черта гармоничности в этом плане заключается в том, что это распределение в условиях сложившегося национально-русского двуязычия не носит декретного характера. В. И. Ленин в статье «Нужен ли обязательный государственный язык?» писал: «Мы убеждены, что развитие капитализма в России, вообще весь ход общественной жизни ведет к сближению всех наций между собою. Сотни тысяч людей перебрасываются из одного конца России в другой, национальный состав населения перемешивается, обособленность и национальная заскорузлость должны отпасть» (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 24. С. 295). В другой своей работе В. И. Ленин подчеркивал, что «потребности экономического оборота всегда заставят живущие в одном государстве национальности (пока они захотят жить вместе) изучать язык большинства» (Т. 24. С. 116).

Важно то, что В. И. Ленин говорит о сближении наций в связи с развитием капиталистического способа производства. Это положение позволяет говорить о том, что выдвижение русского языка на роль средства межнационального общения народов России началось еще до Великой Октябрьской социалистической революции. Причем этот процесс не всегда сопровождался принуждением. Так, «на Кавказе представители нерусских народностей сами стараются научить детей по-русски, например, в армянских церковных школах, в которых преподавание русского языка обязательно» (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 24. С. 116).

Таким образом, равноправие языков при одновременном развитии национально-русского двуязычия — естественный и соответствующий реально сложившимся условиям развития языков народов СССР путь решения языковой проблемы.

Наиболее распространенным типом двуязычия в нашей стране является так называемый субординативный билингвизм, характеризующийся в некотором смысле неразделенностью языковых систем, которыми человек владеет. Но и в этом случае уровень владения русским языком нельзя квалифицировать как продукт гармонического двуязычия. Очень часто в самой этой речи

нет гармонии. Вот примеры: «У нас в курсе 25 девушек, мальчика нет. Мы друг с другом дружно вместе групповой пойдем парк, кино, театр»; «Скажи Артуру и Карине, что я их посоветую учить хорошо и также не заниматься другими вопросами». Они взяты из писем студентов-первокурсников, готовящихся стать преподавателями русского языка в сельских школах Армянской ССР.

Еще более тягостное впечатление производит так называемая гипертрофированная речь. Если применительно к только что приведенному случаю можно говорить о плохой русской речи, то при гипертрофированной ее форме трудно даже определить, какому языку она принадлежит. Ч. Айтматов приводит следующий пример подобной речи: «Пятницада звонить эткин» или: «Самолёта приземлит эр» (зафиксировано нами). Обе фразы нуждаются в переводе: «Позвоните мне в пятницу» и «Самолет уже приземлился». Это своего рода «сменанный язык» — в первом случае — русско-киргизский, во втором — русско-армянский. Вред от такой речи наносится обоим языкам.

Такую русскую речь нельзя считать удовлетворительной, а национально-русское двуязычие, эту речь породившее, — гармоничным. О гармонии можно говорить лишь при достижении билингвами такого уровня речи, который обеспечит автономность языков. При этом решается проблема сохранности языков как духовного наследия их носителей-народов. Нельзя сказать, что в двуязычных регионах страны билингвы не чувствуют опасности низкой культуры речи. В Армении, например, распространена шутка-порицание, которую приводят обычно в том случае, когда говорящий допускает некорректное смешение языков: «Углавой магазинум калбасты очередь э». В этой фразе (В угловом магазине очередь за колбасой) гипертрофия доведена до крайности — лексика русская, а грамматика — армянская.

Чем же реально «угрожает» языкам низкий уровень культуры русской речи?

Во-первых, в конкретных условиях могут сложиться предпосылки к «узакониванию» такой «русской речи» самими билингвами, не взирая ни на какие запреты и рекомендации. В жизни приходится сталкиваться с такими ситуациями, когда два билингва говорят между собой на русском языке, соблюдая местные «неправильности», хотя в разговоре с исконным носителем языка этого себе не позволяют.

Во-вторых, некорректная русская речь притупляет языковое чутье билингва, мешает развитию и совершенствованию речи. Не вырабатывается навык самооценки, без которого невозможно достижение высокого уровня владения языком и культурой русской речи.

В-третьих, низкий уровень русской речи в условиях свободно-го контактирования языков не может не влиять и на национальную речь. Говоря о взаимодействии языков, следует иметь в виду взаимодействие множества типов речи, ее уровней. Повседневное и интенсивное влияние на национальный язык оказывает не только язык Тургенева и Толстого, но и реальная русская речь, в том числе в устах билингва. Ясно, что с повышением уровня владения русским языком одновременно легче решать и вопрос о сохранности и чистоте того или иного национального языка. Здесь, как и в любом другом случае, когда речь идет о двуязычии, решение одного вопроса неизбежно связано с обоими контактирующими языками.

В связи с этим хотелось бы вкратце остановиться еще на одной серьезной проблеме, которая проявилась в самое последнее время.

Дело в том, что на протяжении нескольких десятилетий становления и развития Советского государства преодоление языкового барьера связывалось исключительно с развитием национально-русского двуязычия. И действительно, большинство союзных республик были более или менее однородны по этническому составу, в них преобладали люди коренных национальностей. Языками же межнационального общения внутри республики выступали языки относительно многочисленных этносов: в Туркмении — туркменский, в Грузии — грузинский, в Азербайджане — азербайджанский. В соответствующих регионах были развиты местные типы двуязычия. Представлялось, что если эти народности овладеют русским языком, то языковой барьер в рамках всей страны будет преодолен, а сложившееся (в соответствии с историческими предпосылками) национально-русское двуязычие будет вполне соответствовать принципам ленинской национальной политики. Реальные условия развития национально-русского двуязычия существуют и сейчас, но его дальнейшее совершенствование должно учесть несколько изменившуюся демографическую (и миграционную) ситуацию.

Развитие промышленности привело к невиданной интенсификации миграционных процессов. В республиках стало увеличиваться число жителей русской национальности. При этом представители других национальностей, живущие в той или иной республике, воспринимаются местным населением обычно как русскоязычные. С этой точки зрения, наиболее показательны Казахстан и республика Прибалтики. Большинство мигрантов в этих республиках местными национальными языками не владеют. Разумеется, при сложившемся функционировании русской речи в этих регио-

нах, казалось бы, можно обойтись и без знания местного языка. Но в силу упомянутого функционального разделения языков в «обслуживании» разных сфер общения не исключены ситуации, когда русскоязычному человеку приходится сталкиваться с определенными коммуникативными неудобствами. Это не столь уж редкое явление, например, в республиках Прибалтики. К тому же в последнее время именно в этом регионе участились выступления, в которых дальнейшее развитие национально-русского двуязычия абсолютно несправедливо объявляется неперспективным. Так, на страницах эстонского журнала «Радуга» появилась серия статей, в которых утверждается, что развитие национально-русского двуязычия нежелательно, а преподавание русского языка в эстонской школе даже вредно для интеллектуального развития детей, ибо культура эстонской речи низка якобы потому, что эстонцы изучают русский язык. Но вряд ли требует доказательств, что национально-русское двуязычие отвечает пущим межнациональным общением и снимает множество проблем, связанных с формированием интернационального мировоззрения народов нашей страны. Там, где налицо объективные условия для развития национально-русского двуязычия, необходимо вести практическую работу по его совершенствованию.

Национально-русское двуязычие в нашей стране обладает всеми принципиальными возможностями для гармонического развития. Они вытекают из тезиса о равноправии языков, гарантированы нашим государством, однако используются не в полной мере. Да, фактически существующее двуязычие во многих регионах нашей страны нельзя еще назвать гармоническим, но нельзя и отказывать ему в праве стать таковым. И на пути к этой цели есть уже реальные успехи, о которых не следует забывать. Достижение подлинной гармонии в сосуществовании языков обеспечит решение очень многих задач, стоящих перед нашим многонациональным обществом. Говорить об этом и ставить эти проблемы, как и вопросы, касающиеся национальных отношений, в современную эпоху можно и нужно. Только это следует делать серьезно, без комплиментов, ибо, как отметил А. Н. Яковлев (см.: Коммунист. 1987. № 8), «именно в этой сфере, как, пожалуй, ни в какой другой, накопилось много устаревших, догматических оценок, неадекватных практике».

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«Что значит слово *нувориш*?»

С. Сидорова, Смоленск

Нувориш — (от французского *nouveau riche* новый богач) — человек, внезапно разбогатевший, богач-выскачка.

Продолжаем серию статей, приуроченных к 1000-летию введения христианства на Руси, в них рассказывается о десяти веках восточнославянской, русской книжности и культуры.



Тысячелетние истоки русской науки

Е. М. Верещагин,
доктор филологических наук,
В. П. Вомперский,
доктор филологических наук

С введением христианства князем Владимиром и основанием им множества школ для обучения детей «нарочитые чади» (лучших людей) грамотность стала быстро распространяться на Руси. Легкость приобщения к чтению и письму объясняется прежде всего тем, что книжно-письменный язык, возникший в результате трудов первоучителей Кирилла и Мефодия, был вполне понятен и доступен восточным славянам, воспринимался ими как родной, кровный, став могучим средством просвещения и образования.

Мысленно перенесемся во вторую половину XII века. В это время на Руси была переведена с греческого совершенно замечательная книга — Синаксарь, или Пролог, представляющая собой собрание кратких житий святых и разнообразных наставлений, распределенных по дням года, Пролог полагалось читать каждый

день, и эта книга стала для древних русичей неиссякаемым источником исторических, географических, медицинских и других сведений.

Хотя Пролог — переводная книга, ее русские составители сразу включили в нее немало житий новых славянских святых, в том числе и житие крестителя Руси великого князя Владимира, ласково прозванного в народе *Красным Солнышком*.

Обратимся к текстам Пролога на славяно-русском языке и возобновим в памяти историко-культурные обстоятельства крещения. Стоит приложить небольшое усилие, вслушаться в текст, и он станет понятен. Наш старый книжный язык не следует считать чужим для нас, подобным иностранному языку, мы можем и должны вернуть его нашим современникам, как вернули себе древнерусские иконы или древнерусскую музыку.

Пролог является составной частью богослужения, читали его в храме, как правило, поздно вечером. Таинственно мерцали лампы и свечи. (Пролог по уставу слушали непременно сидя.) Молодой человек (*анагност* — чтец) выносил обтянутую кожей тяжелую книгу, раскрывал ее, в полной тишине начинал певучей погласцей:

«Месяца июля в пятнадцатый день усупение (т. е. кончипа) великаго князя Владимира Киевскаго, крестившаго землю русийскую...»

Проложные тексты занимательны, просты, незатейливы, они легко доходят до ума и сердца любого человека, даже никогда не учившегося грамоте.

«Сей великий царь Владимир бже сын Святославль, перее же к идолом много тцание творя по отцю преданию. Возбнѣ (пробудился) яко от сна от лютаго идолослужения, и посла по всем языком (по всем странам), испытая законы их, како веруют. И уведав святую веру греческую, яко свещу на светиле, и речѣ в себе: „Сще (так) да сотворю, пойду в землю их, и плещу грады их, и обрящу ту (там) учителя“. И еже умысли (замыслил), что и сотворѣ, шед взя Кѣрсунь град и посла к царема греческима, глаголя: «Дайта за мя сестру свою. Аще ли не дадита, то сотворю граду ваю (ващему), якоже и сему (этому) сотворих».

Сведения Пролога в общем и целом вполне достоверны. Действительно, Владимир пытался установить для Руси единый языческий пантеон. Он на самом деле посылал доверенных людей и к волжским болгарам, принявшим мусульманство, и к казарам, которые исповедовали иудаизм, и к «папежу» в Рим, и в Константинополь. Согласно летописи, посланцы были покорены красотой греко-византийского богослужения («нестъ бо на земли такаго вида

ли красоты такая») и советовали принять христианство восточного обряда. На решение Владимира, несомненно, оказали влияние и другие обстоятельства, в частности, давние и тесные связи с Византией. Характерно, что Русь как бы завоевывает свое крещение. Владимир штурмом берет византийскую крепость Корсунь (Херсонес) в Крыму и угрожает прямым походом в Византию. Требование династического брака — тоже не прихоть: вступив в родство с греческой царской династией, Владимир и себе мог требовать царского достоинства (в Прологе он прямо называется царем). Итак, императоры-соправители Василий II и Константин VIII отправляют в Корсунь свою «багрянородную» сестру Анну, которая предназначается в жены Владимиру, и митрополита Михаила, который должен был возглавить Русскую церковь.

Послушаем же дальше юного зтеца, высокое искусство которого свидетельствует об успехах русской школы.

«Вшедшу же Владимиру (когда Владимир вошел) во святую купель, похвали всех Бога и, просвещен бысть душею и телом, радовашесе. И пришед к Киеву, избви вся идолы, Перуна и Хорса, Дажьба и Мокша и прочия кумиры. Посем возва все множество людей и заповеда (приказал) им креститися. И нарек (назначил) им день, сйце (так) глаголя: „Аще кто не обрящется утро на реце (на реке), той будет противен (врагом) мне“. Тогда снидесе весь возраст мужей и жен и с сосущими младенцы. И в воде стояху, овии (некоторые) до пояса, овии до выи, друзи же бродяху, а презвитери (священники) по берегу стояху, молитву творяще над крестимыми. Повеле же людем ставити церкви по всем градбм, а сам созда церковь святыя Богородицы. Пребысть же неколико (несколько) лет, пача болети и преставися ко Господу месяца июля в пятьдесятый день».

Низвержение языческих идолов — достоверный факт. Что касается точного дня крещения киевлян, то возможны разногласия, но по устойчивой традиции считается, что оно совершилось 1-го (по повому стилю 14-го) августа. Вызывает споры и год крещения; какие бы аргументы ни выдвигались, все же год 6496 «от сотворения мира» (т. с. 988) засвидетельствован наиболее надежно. Обратим, наконец, внимание на то, что в Прологе специально отмечается храмосозидательная деятельность Владимира.

Повышая и усиливая голос (замысловатым модуляциям погла-сицы специально учились), зтец завершает:

«Тело же его положиша все множество всея русийския земли боляр же и людей, плачущесе яко отца и заступника своего, в церкви святыя Богородицы, юже (которую) сам созда».

За каждой чрезвычайно краткой строкой проложного текста стоит очень многое. Скажем, вся длительная и трудная история взятия Корсуни свелась к единственной фразе: «шед взя Корсунь град». В летописи же о взятии Корсуни содержится пространное повествование. Или, что, например, кроется за скупыми словами о том, что после Корсунской купели Владимир «просвещен бысть душею».

Дело в том, что в числе прочего наша начальная летопись сообщает: еще в Корсуни князь Владимир получил обстоятельное наставление в новой для него вере. «Крещену же Володимиру, — читаем в „Повести временных лет“, — предаша ему веру христианскую, рекуще сице: „Верую в единого Бога Отца вседержителя, творца небу и земли, и до конца веру сию. И паки (т. е. и далее): „Веруи в единого Бога Отца порождена и в единого Сына рожена и в един Святыи Дух пеходящ: три собства совершенна, мыслена, разделяема числом и собственным собством, а не божеством; разделяет бо ся нераздельно и совокупляется неразменно“» (и так далее). Прибегнув к упрощению написаний, мы воспроизвели всего несколько строк из довольно пространного вероучительного текста в летописи.

Вот это изложение веры и имеет в виду составитель проложного жития, когда говорит о «душевном просвещении» Владимира.

Согласно устойчивому христианскому обычаю, восходящему еще ко II веку, взрослого человека нельзя было крестить без «оглашения», т. е. одновременно он должен был познакомиться с основными религиозными истинами.

Вероисповедные тексты бывают двух видов — общецерковные (они называются *символами веры*) и личные (они имеют различные наименования, мы их будем называть *изложениями*). Сначала Владимиру был преподан общецерковный символ веры, и летописец взял из него лишь несколько начальных слов. Он не считал нужным воспроизводить текст до конца, поскольку символ веры, по церковному уставу, неоднократно прочитывался каждый день, и все знали его наизусть. Потом Владимир познакомился и с личным изложением веры, а такие изложения употреблялись редко, не были известны всем и каждому, поэтому летописец считал себя обязанным передать его целиком. Об этом документе — *Изложении Владимира* и пойдет дальше речь.

Изложение Владимира имеет большое значение для истории русского литературного языка, его научной разновидности, а изучено оно довольно слабо. Длительное время происхождение *Изло-*

жения было неизвестно. Думали, что перед нами оригинальный, специально для великого князя составленный славянорусский документ. Академик М. И. Сухомлинов отыскал для него, однако, греческий источник, и им оказалось *Изложение Михаила Синкелла* (ок. 760–846), *Святоградца* (т. е. выходца из Иерусалима), стойкого иконопочитателя. В летописной версии Изложение Михаила Синкелла дано в значительном сокращении; академику Н. К. Никольскому удалось отыскать и полный славянский перевод, причем замечательный филолог показал, что в летописи — именно вторичное, последующее сокращение, а не перевод с укороченного греческого текста. Надо думать, что на «харатье» Владимиру был дан полный славянский перевод и что великий князь хранил его как святыню, в дальнейшем препоручив детям для передачи «в род и род».

Изложение Владимира представляет собой едва ли не первую фиксацию на Русской земле целого ряда теологических терминов: *божество, отечество, сыновство, воплощение, воскресение, истление, троица, промысел, заповедь, писание, ересь, исповедати, отрекатися, проклинати* и т. д. Тем не менее оно имеет значение не только для богословия. Известный исследователь греко-славянских древностей Ф. Дворник правильно заметил, что византийские отцы церкви были не только знакомы с творениями классических (античных) философов, но и смело вносили языческую «внешнюю философию» в собственные писания. Следовательно, в Изложении мы можем открыть и философское терминологическое богатство.

Что касается Михаила Синкелла, то он, безусловно, получил образование, включавшее в себя всю мудрость греческих философов античности. Об этом подробно говорят его жития, а в славянском Прологе под 18 декабря (день памяти святого) особо подчеркнуто: «изведев убо совершенно еллинския премудрости» (под «еллинами» разумеются язычники, дохристианские мудрецы) «и наша (т. е. христианскую) премудрость добре изучив».

Неудивительно поэтому, что в Изложении оказалось немало терминов, относящихся к различным разделам философии, онтологических, гносеологических, а также логических, психологических, эстетических, причем по количеству подобная философская терминология превосходит теологическую.

Здесь уместно разъяснить непростой вопрос соотношения религиозной веры и философского знания. «Мировоззрение средних веков было по преимуществу теологическим. ... Духовенство было к тому же единственным образованным классом. Отсюда само собой вытекало, что церковная догма являлась исходным пунктом и основой всякого мышления. Юриспруденция, естествознание, фи-

лософия — все содержание этих наук приводилось в соответствие с учением церкви» (Маркс К. и Энгельс Ф., Сочинения. Т. 21. М., 1961. С. 495). Тем не менее нельзя говорить о безраздельном подчинении всей умственной жизни религиозному культу: певно, но все же вполне реально философия присутствовала в самой теологии, то есть систематизированном изложении вероучения. Классики марксизма отмечали: «...философия сначала вырабатывается в пределах религиозной формы сознания...» (там же. Т. 26. Ч. 1. С. 23), «Разум существовал всегда, только не всегда в разумной форме» (там же. Т. 1. С. 380).

В полном соответствии с изложенным античные по происхождению философские термины сохраняют свою самостоятельность и вне богословских суждений, за славянскими словами вполне просвечивает их греческая основа. Чтобы облегчить типографский набор, вместо греческого алфавита мы часто пользуемся латиницей (ср.: *вина* — греч. *aitia*, т. е., по-современному, *причина*; *истина* — *aleteia*, *начало* — *arche*, *собство* — *idiotes*, т. е. *свойство* и так далее).

Продолжим перечисление философских терминов, взятых из Изложения Владимира: *мыслен* (разумен), *совершен*, *временен*, *безвременен*, *телесен*, *бестелесен*, *страсть*, *изменение*, *хотение*, *число*, *подобие*, *бытие*, *приснобытие*, *единство*, *действие*, *множество*, *спасение*, *воздаяние*, *благо(е)* и *зло(е)*, *разделяти* (в значении: *различать*), *преступати* и т. д.

Как видим, материал Изложения позволяет плодотворно исследовать исходный момент развития восточнославянской, русской, в том числе и современной философской терминологии.

Изложение Владимира — это отправная точка русской науки, начало терминообразования и сложения научного синтаксиса. Противопоставляя языческую и крещеную Русь, М. В. Ломоносов (Избранная проза. М., 1986. С. 422) так писал по этому поводу: «В древние времена, когда славенский народ не знал употребления письменно изображать свои мысли, которые тогда были тесно ограничены для неведения многих вещей и действий, ученым народам известных, тогда и язык его не мог изобиловать таким множеством речений и выражений разума, как ныне читаем. Сие богатство больше всего приобретено купно с греческим христианским законом, когда церковные книги переведены с греческого языка на славенский».

Действительно, до крещения Руси в языке восточных славян была прежде всего развита конкретно-предметная и повседневно-бытовая лексика (*человек*, *быт*, *жилище*, *постройки*, *земледелие*, *охота*, *торговля*, *челядь*, *дружинники*, *бояре*, *военное дело* и т. д.),

хотя следует допустить и наличие отвлеченных понятий (из сферы мифологии, географии, измерения времени и расстояния, астрономии, административно-политического устройства, ремесел и т. д.). Восприняв крещение в его восточном виде, Русь вступила в теснейший контакт с Византией, самой передовой страной того времени, и под влиянием греков исконная терминология стала существенно меняться: она или переосмысливалась, или пополнялась. Так, на совершенно новые идеологические основания была поставлена терминология традиционного русского права; переменялись также военная лексика, медицинская, финансовая, певческая, градостроительная, ткацкая, дипломатическая, педагогическая, историческая, да и вся другая. Ф. И. Буслаев в фундаментальном исследовании «О влиянии христианства на славянский язык» (М., 1848) убедительно показал в нем весь размах культурно-языковой перестройки. Некоторые области знания, можно считать, были заимствованы заново. О возникновении целого ряда естественно-научных отраслей можно прочесть в интересных исследованиях: «Естественно-научные знания в Древней Руси» (М., 1978); «Естественно-научные представления в Древней Руси» (М., 1980). И в первую очередь христианство стало на Руси стимулом для формирования систематических знаний философской природы.

Усилия наших далеких предков по сложению научной славяно-русской терминологии и развитого синтаксиса, этой формы сложной научной мысли, не пропали даром и не потерялись на протяжении веков. Так, многие перечисленные нами философские термины, известные Владимиру, претерпев к нашему времени семантические и внешние перемены, за тысячу лет не изменились в такой степени, чтобы их нельзя было отождествить и по смыслу, и по виду.

И здесь уместно вспомнить о том, что уже Кирилл и Мефодий ввели в созданный ими славянский литературный язык (при Владимире перешедший на Русь) термины для выражения отвлеченных категорий *естество, свойство, сущность, природа, вселенная, закон, бытие, небытие, идея, существо, понятие, изображение* и т. д. И сейчас мы черпаем из этого философского терминологического богатства, когда прибегаем к таким терминам, как *истина, мнение, образ, общение, подобие, различие, род и вид, сила, творение, часть и целое, а также бесконечность, бессмысленность, бессознательность, необратимость, необходимость, благо, борьба, вероятность, возвышенное, восприятие, всеобщее, единичное, особенное, добро и зло, долг, достоинство, знак, значение, изменение* и так далее.

Надо сказать, что между первоучителем славянства Кириллом

и крестителем Руси Владимиром есть и вполне конкретная переключка, делающая характерные для них отношения преемственности многозначительными, зримыми, несомненными.

Константин-Кирилл, подобно Владимиру, тоже оказался в ситуации, когда ему потребовалось изложить свое *credo*. Его Изложение веры, как и Владимира, к счастью, дошло до нас: «Написание о правен вере, изущеное Костаентином, блаженным философом, учителем о Бозе словенскому языку».

Изложение Кирилла также является не общецерковным, а личностным, и оно построением и частично аргументацией отличается от Изложения Владимира: «Верую бо убо в единого Бога Отца вседержителя, всем видимым и невидимым творца же и господя, безначальна, невидима, неодержима, неизменна, бесконечна...» (и т. д.).

Длительное время происхождение Изложения Кирилла было неизвестно. Полагали, что оно является оригинальным, написанным сразу по-славянски, но ряд ученых все же предполагал греческий источник. Совсем недавно советский исследователь А. И. Юрченко установил: перед нами перевод *Изложения веры Никифора* (ок. 758–829), патриарха Константинопольского, который, как и Михаил Синкелл, был убежденным сторонником иконопочитания. Как и Михаил, Никифор до возведения на патриарший престол был светским человеком, имперским секретарем и получил прекрасное образование. Изложения Михаила и Никифора очень близки по форме, используемым выразительным средствам, повторяющейся терминологии. И не удивительно: единомышленник Никифора, его младший современник Михаил написал свой трактат если не в подражание святителю, то под его мощным воздействием.

Соответственно и два славянских изложения веры – Кирилла и Владимира – были переведены с использованием одних и тех же терминов.

Заложенная Кириллом и Мефодием традиция славянского терминотворчества и разветвленного синтаксиса, впитавшая в себя как античное наследие, так и христианские особенности, благодаря Владимиру перешла в древний Киев и обеспечила здесь зарождение и бурное развитие высокой науки. Эта традиция никогда не терялась в русском литературном языке, в том числе современном. Не угасала. И не угаснет.

Рисунок В. Леонова



С. В. Позиховская

Острог. Сурово смотрели бойницы родового замка князей Острожских, башен Круглой, Татарской и Луцкой, стремительно рвались ввысь строгие купола Богоявленского собора на Замковой горе, а чуть ниже возвышались купола еще четырех церквей. Возле Замковой горы, на так называемом «пригорке» стояло необычное двухэтажное здание, где размещалась знаменитая Острожская Академия — первое высшее учебное заведение у восточных славян и одно из первых на территории нашей страны. Преподавали здесь греческие ученые Кирилл Лукарис и Никифор Кантакузин, польский профессор математики и медицины Ян Лятос, украинские писатели-полемисты Герасим и Мелетий Смотрицкие. Читали риторику, диалектику, богословие, арифметику, астрономию, медицину, музыку, изучали языки — греческий, латинский, славянский. По уровню знаний, которые получали выпускники, Острожская Академия не уступала старейшим западноевропейским университетам.

«Волынскими Афинами» называли Острог восхищенные современники, а польский поэт конца XVI века Симоц Пенкальский в своей поэме «Об Острожской войне» писал о том, что Аполлон оставил Олимп и перенес свою резиденцию в Острог, потому что здесь процветали «изящные искусства». Таким увидел Острог и

первопечатник Иван Федоров, когда в 1575 году по приглашению острожского князя Константина Константиновича приехал сюда, чтобы дальше «семена духовные по вселенной рассевати». Здесь в полную силу раскрылся его выдающийся талант, здесь напечатал он 6 из 12 своих книг и среди них самую знаменитую — Острожскую Библию 1581 года — первую полную славянскую печатную Библию.

Через триста лет после Ивана Федорова русскую типографию в Остроге открыл Е. С. Крымский, отец известного академика — А. Е. Крымского. Ему же принадлежала первая публичная библиотека на территории края, а также книжная лавка.

Богатые книжные традиции — неотъемлемая часть интереснейшей 900-летней истории Острога. В 1909—1912 годах Братство имени князей Острожских, объединившее прогрессивную местную интеллигенцию, поставило вопрос о создании исторического музея в Остроге, один из разделов которого должен был рассказывать о деятельности Ивана Федорова. Тогда и были заложены основы книжной коллекции, открытой в 1916 году. Но идея создания самостоятельного Музея книги возникла только в 1970-х годах. 10 декабря 1985 года в Луцкой башне XVI века была открыта экспозиция Музея книги и книгопечатания — отдела Государственного историко-культурного заповедника города Острога. Это — четвертый такого типа музей в СССР. Оформляли его ленинградские художники, а создан он на средства Республиканского общества любителей книги УССР.

В основу положена неплохая книжная коллекция, насчитывающая более 300 старопечатных (изданных до 1800 г.) и около 40 рукописных книг. В коллекции имеются уникальное «апокрифическое» Евангелие (Москва, около 1557 г.), знаменитая «Острожская Библия» Ивана Федорова (Острог, 1581), «Псалтырь» (Вильно, 1576), изданная другом и соратником И. Федорова Петром Мстиславцем, «Апостол» М. Слэзки (Львов, 1639 г.), «Энеида» И. Котляревского (С.-Петербург, 1798), редкие издания отечественных типографий XVI—XVIII веков во Львове, Киеве, Почаеве, Вильнюсе, Могилеве, Полоцке и др.

Две трети коллекции составляют западноевропейские издания. Среди них «Декреталии Григория IX» (Париж, 1511), «Бревиарий хорватский» (Венеция, 1561), греко-латинский словарь А. Калепина (Базель, 1562 г.), «Основы греческого языка» Н. Клепарди (Франкфурт, 1591) с автографом Мелетия Смотрицкого, другие издания многих типографий Венеции, Рима, Варшавы, Кракова, Парижа, Антверпена, Амстердама, Базеля, Мюнхена XVI—XVII столетий.

Экспозиция Музея книги рассказывает о возникновении славянской письменности и о первых книгах на Руси, о деятельности Ивана Федорова и развитии украинского книгопечатания в XVI—XVIII веках, о распространении на территории края русских и западноевропейских изданий о книге гражданской печати, о влиянии большевистской литературы и прессы на народные массы, об украинской книге в первые годы Советской власти, в годы гражданской войны и в последующее время, о деятельности разнообразных организаций, причастных к рождению, распространению и пропаганде книги. Главная идея экспозиции — показать книгу в тесной связи с человеческими судьбами, ведь книги создаются людьми и для людей, без которых они остаются просто мертвым хранилищем определенной информации.

Небольшие отдельные коллекции (историко-краеведческой литературы, книг с автографами известных отечественных писателей, миниатюрных изданий, книжных знаков — экслибрисов) используются при создании многочисленных выставок как стационарных, в музее, так и передвижных.

Интересной и новой формой работы стал недавно созданный при музее Клуб исторической книги (КИК), второй на Украине. Клуб объединил людей разных профессий и возрастов. В этом еще раз проявилась огромная притягательная и объединяющая сила величайшего творения ума и рук человеческих — книги. Маленькие книжные ручейки, у истоков которых стоял великий первопечатник Иван Федоров, слились в огромное книжное море, и острожане по праву гордятся этим. Еще в конце XIX века ставился вопрос об открытии в Остроге памятника Ивану Федорову. Вопрос этот до сих пор не нашел своего решения. Но живым и полнокровным памятником «друкарю книг, пред тем невиданных» стал Музей книги в Остроге.

Рисунок В. Леонова

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«Поясните, если можно, из чего сделана *посконная* одежда, что значит это слово?»

Л. И. Новожилова, *Ленинград*

Посконная одежда шита из *посконного* холста.

Посконь — разновидность конопли, отличается от конопли меньшей скоростью поспевания и качеством вырабатываемого из нее прядильного волокна — пеньки. *Посконь* дает нежную и крепкую пеньковую нить, из которой получается прочная ткань — *посконный* холст.

Из «Этнолингвистического словаря славянских древностей»

Бабье лето

Лексические соответствия русскому *бабье лето* существуют во всех славянских языках, кроме болгарского и македонского (здесь представлена лишь в настоящее время обособившаяся, но генетически являющаяся синонимом данного выражения форма *женско лято*, ср. болг. *Женско лято по Илinden*, т. е. «период женских работ продолжается до Ильина дня»), с доминирующим значением «несколько погожих осенних дней среди общего похолодания» и варьированном морфологической форме прилагательного (<**babinyъ*, **babijъ*, **babъskijъ*) по диалектам: блр. *бабина лета*, укр. *бабине лiто*, пол. *babie*, *babskie lato*, словц. *babie*, *babskie leto*, чеш.

babi léto, в.-луж. *babylěčo*, с.-хр. *bābino ljetō*, слов. *babje leto*, но болг. *сиромашко* или *циганско лято* (т. е. «лето убогих», «лето цыган»), макед. *циганско* или (что то же) *гунско лето*.

Семантическая модель «лето для бедных» может расщепляться как особый южнославянский тип наименования *бабье лето*, так как аналогичные названия известны и на западе южнославянской зоны (с.-хр. *сиротињско лето*). Наименования типа *бабье лето* ха-



рактены также для немцев (*Altweibers Ommer, Fraun̄sommer*), хотя немецкие исследователи предполагают, что распространение этих поздних для немецких языковых форм (первая фиксация — 1807 г.) происходило под славянским влиянием. На западе славянского ареала распространены названия *бабье лето*, отталкивающиеся от тех дат христианского календаря, которые служат вехами в определении его сроков (чеш. *svatováclavské léto*, пол. *świętomarcińskie lato*, с.-хр. *Михольско лето* и т. п.); эта модель известна многим народам западной Европы (франц. «лето св. Дионисия», «лето св. Мартина», итал. «лето св. Терезы», англ. «лето св. Луки», дат. «лето св. Бригитты» и т. п.).

В современных славянских языках выражение *бабье лето* употребляется также в переносном значении — по отношению к женщине, переживающей на пороге старости короткую пору последнего расцвета. *Бабье лето* как хрононим неотделимо от своего толкования, которым может быть поверье, примета, хозяйственное предписание, поговорка или несколько текстов такого рода. Мотивы, на основании которых строится толкование, не связаны с каким-либо определенным жанром. Они являются сквозными и могут быть представлены любым из них. Общая закономерность соотношения жанров состоит в том, что на западе доминирует поверье (наибольшим разнообразием их характеризуется германская этнодиалектная область), а на востоке — примета и хозяйственное предписание (как ее разновидность). Мифическая интерпретация осуществляется как акт сопоставления некоторых природных явлений (это, главным образом, осенняя паутина, отлет птиц и состояние погоды) с определенным рядом культурных тем (в их мифическом или хозяйственном аспектах), среди которых доминируют ткачество (мотивы нити, пряжи, одежды как «покрова», «савана», «ризы» и т. п.) и земледелие. Каждый из этих семантических элементов может быть как интерпретируемым, так и интерпретирующим, обладая при этом словообразовательной потенцией. На севере акцентирована тема паутины, поэтому в севернославянских языках (луж., чеш., слов., пол., укр., блр., включая зап.-рус. говоры) выражение *бабье лето*, помимо основного, обычно имеет второе значение — «паутина, летящая в воздухе в дни *Бабьего лета*» (чеш. *Pavouk babi léto spřáďá*).

По говорам оно может становиться преобладающим и даже единственным. По преданию люненбургских славян, на месяце сидит дряха (ее можно видеть во время полнолуния), вертит колесо и прядет тонкие нити, которые осенью падают на землю. Для западных славян характерны трансформации этого поверья, где небесной пряже (в германском ареале в ее функции выступают многие

мифические персонажи) соответствует Богородица («папна Мария»). Например, кашубы полагают, что она сбрасывает свою пряжу (*bab'e lato*) с прялки на землю, чтобы напомнить женщинам о приближении зимы, когда наступает пора сесть за прялку (эта модель активно ведет себя в западноевропейских языках, где возникают соответствующие ей названия: нем. *Marienfaden*, *Mariengarn*, франц. *fil de la Vierge* и т. п.). Прикосновение нитей *бабьего лета* сулит счастье (чеш. *Koho babi léto v letu se dotyka, bude šťastným*). Полагают, что зима не установится, пока не «иролетит» *бабье лето*.

Вторая из основных трансформаций ключевого поверья объясняет нити *бабьего лета* через мотив одежды (чеш. *babivlek*). Например, считается, что это нити савана Богородицы, который распался, когда она вознеслась на небо.

По мере движения на восток западный тип поверья подвергается все большей редукции; на западе восточнославянского ареала в функции небесной пряжи выступает паук, с которым связывается здесь космогоническая функция «основания» мира-света (блр. *Паук свет снавал*). У русских эта тема затухает совсем (мотив паутины сохраняется лишь в осенних приметах о погоде, например, *Много тегеника — долгая сухая осень*), но в виде компенсации возникает безусловное тяготение хрононима *бабье лето* к осенним праздникам культа Богородицы (Успенские, Рождество, Покров), образующим основные вехи его колебания в пределах календаря. «Небесная» функция Богородицы сменяется «земной», отражающей мифологему Земли-Матери-Богородицы, и хрононим *бабье лето* используется лишь в функции хозяйственного и погодного ориентира (следы такого его функционирования отчетливы также в других зонах славянского мира, например, в кашубском противопоставлении *bab'e* (*xlopske lato*), связываясь либо с мотивом жатвы, либо с мотивом выделки (уборки, беления и прядения) льна (реже конопли). Отсюда два крайних значения фразеологизма в русских говорах: «время, когда женщины убирают лен» (твер., сев.-двин.) и «время по уборке хлеба, трав» (пинеж.); возможны опирающиеся на эту модель новообразования, например, «период работ в огороде — уборка картошки, прополка капусты» (амур.). При актуализации мотива выделки льна с *бабьим летом* связываются предписания, касающиеся сроков, когда следует стлать лен (типа *Лен стели к бабьему лету, а подымай к Казанской*) и начинать прясть (начало «супрядок»). Если преобладают живные ассоциации, пикняя временная граница в сроках *бабьего лета* на русском севере иногда сдвигается до Ильина дня, когда здесь начиналась жатва. Однако обычно хрононим соотносится с собственно календарным (Успенские и Рождество Богородицы, день Си-

меона Столпника, Покров, особенно первая неделя сентября), реже окказиональным моментом окончания полевых работ — жатвы, молотбы, озимых (пахоты и сева), с которыми на северо-востоке связаны поверья об именинах земли и овина. Например, корреспонденты Костромской этнологической станции в 1922—1923 гг. сообщали: «Бабье лето, именинница земля и овин — в конце осени, после всех работ (Бабье лето бабы празднуют в сентябре по окончании летних работ/Клаплются [овину] и благодарят, что обеспечит на зиму хлебом землю/Собирают со всего селения продукты, варят пиво, и веселятся, и устраивают гулянье). В бабье лето мужик в бабе не волеп, хочет, она слушается, хочет, откажется/. [Если хорошая погода], со смехом говорят: „Ныне бабы умолили бога“».

По погоде бабьего лета судят о предстоящей осени (*Бабье лето ясное — осень ясная и теплая* и т. п.). Таким образом, существует прямая связь между бабьим летом как хрононимом и жатвенными *бабьими* (или *бабскими*) праздниками (*Дожинки*), которые иногда имеют черты сходства с родинным обрядом. В функции обозначения «бабьего» праздника выражение *бабье лето* смыкается с другими «бабьими» днями славян, постоянно отмечающими пограничье лета и зимы (или зимы и лета), а также позже сформировавшийся период «позолетия» — сентябрьского, мартовского или январского. Будучи стертым в южнославянском ареале, хрононим *бабье лето* имеет здесь восполняющий календарный коррелят в соответствующих мартовских «бабьих» днях как пазванни нескольких снежных и холодных весенних дней (у болгар — последних дней марта). Их объединяет, в частности, мотив спора (договора) времен года (месяцев). Связываясь в с.-хр. ареале (и на Карпатах) с поверьем о Марте, заморозившем в горах дерзкую «бабу» и ее козлов (они превращаются в камень), эти хрононимы одновременно соотносимы с южнославянским представлением о «бабе Марте», которой посвящается ритуальное обвязывание бело-красными нитками *мартениц*, являющихся культурным эквивалентом северных нитей «небесной пряжи». Подобно тому, как выражение *бабье лето* может иметь функцию названия осенней паутины, мартовские «бабьи» хрононимы сербов (*бабини јарци, козлићи, позажменици, ујови*) используются также в качестве названий мартовского снега. Названная корреляция рождает возможность ассоциации выражения *бабье лето* со снегопадами, которая иногда дает знать о себе в разных традициях, например, в пол. «*Babie lato jest to przeciąg czasu od zejścia pierwszego w jesieni śniegu do posypania drugiego*». Таким образом, будучи по своему происхождению обозначением периода женских полевых работ (оппозиция «муж-

ское)/«женское» лето), выражение *бабье лето* по говорам актуализирует затем близкий времени *бабье лето* как погодного явления момент их окончания (оппозиция начало/конец, дающая модель «бабий праздник»); употребляясь далее в качестве названия этого погодного явления, фразеологизм вовлекается также в лексическое поле наименований осенней паутины (это происходит, когда диалекты славян сталкиваются с мифологическими представлениями запада, воспринимаемыми ими в данном случае в терминах своего языка, — отсюда предметное значение хрононима); возможность последнего переноса облегчается благодаря народно-этимологической связи слов *лето* и *лететь* у славян.

О. А. Терновская

Рисунок Т. Горской



ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«Я знаю, что *понёва* — что-то из женской одежды в XIX веке. Но что именно?»

А. К. Казакова, Москва

Понёва — род юбки из домотканой шерстяной ткани, обычно полосатой или клетчатой.

Откуда «пришли» Ильмены?

Г. К. Валеев,¹

кандидат филологических наук



ИЛЬМЕНЫ – так называют удивительный уголок нашей страны на Южном Урале, расположенный вдоль восточных склонов уральской горной системы: Ильменские горы с высшей точкой Ильмен-Тау (747 м.), хребет Косой горы и многочисленные озера: Ильмень, Аргаяш, Большое Миассово, Малый Кисгауч и другие.

В 1920 году декретом Совета Народных Комиссаров, подписанным В. И. Лениным, здесь был создан уникальный минералогический заповедник. В целях сохранения исключительно разнообразного комплекса горных пород и минералов, а также характерной флоры и фауны Южного Урала позже он был преобразован в Ильменский государственный заповедник имени В. И. Ленина. Первыми заповедными объектами Ильменских гор стали минералы: амазонский камень, апатиты, берилл, горный хрусталь, гранат, графит, ильменит и другие. Всего в заповеднике обнаружено около 200 минералов, причем часть из них найдена только в Ильменах.

Почва, вода, растительность и животный мир Ильмен также очень интересны и специфичны. На территории заповедника обнаружены многие группы растений – от тасжывых до степных и альпийских, а также реликтовые растения. Богат животный мир Ильмен: здесь обитают суслик, куница, белка, глухарь, медведь, лось. В XIX веке в Ильменах жили соболь, бобр, выхухоль, благородный олень.

В основе топонима *Ильмены* лежит название южноуральского озера Ильмень, которое было перенесено на смежный объект –

гору, а затем на весь хребет. Такой метонимический перенос столь обычен в топонимии, что иногда приводит к парадоксальным, на первый взгляд, наименованиям. На Урале есть гора *Глубокая* рядом с рекой Глубокой, а река *Треугольница* протекает через озеро Треугольное.

В русском языке для названия горной страны, ее части, отличной от окружающей местности, может использоваться форма множественного числа: *Саяны*, *Карпаты*, *Мугоджары* (южное окончание Уральского хребта), *Шизаны* (одиночные конусообразные горы на правом берегу реки Белой). В этом же ряду стоит топоним *Ильмены*, образованный от названия озера.

Как географический термин и слово *ильмень* известно на обширной территории Восточной Европы. *Ильменями* называют мелкие заросшие озера; разливы среди камышей; ямы, залитые водой; старицы в дельте Волги, в пойме реки Урал, на Дону и Днепре.

А. К. Матвеев допускает возможность проникновения топонима *Ильмень* на Южный Урал вместе с русскими переселенцами (Матвеев А. К. От Пай-Хоя до Мугоджар. Свердловск. 1984).

Весьма плодотворным, на наш взгляд, кажется обращение к первым письменным фиксациям уральских топонимов. Академик П. С. Паллас, побывавший на Южном Урале в 1769 году, об уральском озере Ильмень пишет «...а от башкирцев собственно Именкуль называемое, а по ту сторону сего озера возвышается Имен-тау». Мы считаем, что записи ученого-путешественника заслуживают доверия, к тому же ему были известны озера в оренбургских степях, коих «здесь обыкновенно называют ильменями». Следовательно, он не мог описать. М. И. Альбрут, впервые обратившийся для объяснения топонима к записям П. С. Палласа, считает, что в данном случае *Ильмень* — это измененное русским населением башкирское слово *имен(тау)* «безопасная» (гора) (Альбрут М. И. Географические названия Челябинской области. — Сб. «Доклады научно-краеведческой конференции». Вып. 2. Челябинск. 1966). Эта гипотеза нашла отражение в работе Б. П. Колесникова и Е. М. Фильрозе «Ильменский заповедник имени В. И. Ленина»: «Светлые леса с богатыми луговыми полями, обилие дичи в горах и рыбы в многочисленных озерах, разнообразие живописных уголков, горные пейзажи издавна привлекали коренных жителей Южного Урала к этой земле. Недаром ее горы получили название „имен-тау“, что означает „безопасные горы“. Праздничный ландшафт Ильмен контрастирует с обликом других близлежащих территорий Южного Урала, например горных массивов Юрмы (в пе-

реводе „не ходи“) или Яман-тау („плохая гора“) с их монолитными, подавляющими угрюмым величием скалами, хаотичными россыпями камней и мрачными темно-хвойными лесами» (в кн.: Заповедники Советского Союза. М., 1969).

Столь удачное, на первый взгляд, «ландшафтное» объяснение имени и противопоставление «добрых» и «плохих» гор противоречит фактам башкирского языка. Слово *imēn* в значении «целый», «цел», «невредим», но не «благополучный», «безопасный», используется в башкирском языке не в определительных сочетаниях, а в глагольных: *imēn buluç* «здравствовать», *imēn bötöü* «благополучно кончиться», *imēn jögöü* «быть невредимым, здоровым», *imēn qaļuç* «уцелеть, остаться невредимым, здоровым» (Башкирско-русский словарь. М., 1958).

Полагаем, что *Иментау* самая обычная русская передача башкирского *Imäntau* «Дубовая гора», а *Именкуль* – *Imänkü* «Дубовое озеро», то есть название дано по лесам, растущим по берегам озера. Эта известнейшая модель в русском и тюркских языках. На Южном Урале известны Березовая гора, Сосновая горка, хребет Кедровый Спой, гора Жука-Тау, в переводе «Липовая гора», Шерпил-Тау – из башкирского *şurşu lu taç* – «Еловая гора», озеро Елово и т. д.

Видимо, со временем необычные для русского населения названия *Именкуль*, *Иментау* фонетически изменились и приобрели привычную форму *Ильмень*.

Столь простая этимология слова не вызывала бы возражений, если бы до сих пор дубовые леса произрастали в Ильменах, но широколиственные массивы встречаются достаточно далеко от Ильмен, в основном, в Предуралье. Поэтому вдвойне интересно с лингвистической и географической точек зрения привести цитату из работы А. Гавемана «Ильменский государственный заповедник»: «Несколько сот лет назад леса Ильмен представляли другую картину. По всему Ильменскому хребту росли лиственные леса... Вся северная часть заповедника (Аргазинский участок) была покрыта густыми сосновыми лесами... Под пологом сосны пышно развивалась липа, а по долинам рек Черемшани и Белой, мерно покачиваясь от ветра, шумели листвою ценные дубы и ясени.

Сейчас нет давно дуба, ясени и липы, и степь медленно, но настойчиво завоевывает былые лесные пространства. Дуб и ясени сделались жертвой хищнической эксплуатации, как породы трудно возобновляющиеся, уступили место породам с громадной побегопроизводительной способностью: березе и осине». (В кн.: Челябинская область: Природные богатства и их использование. Т. I. Челябинск. 1939).

Наименование, как установил известный советский исследователь В. А. Никонов, не основывается непременно на самом пространном признаке местности, а часто даже как раз наоборот, — появлению названия способствует что-то редкое, выделяющее данный объект из окружающей среды. Эту закономерность он назвал относительной негативностью названий. Таким образом, чем реже встречался дуб в Ильменах, тем прочнее закреплялось его название за озером и хребтом.

Сейчас в Ильменском заповеднике успешно культивируются многие восточноевропейские виды растений, в том числе дуб черешчатый.

Челябинск

Из Нормативно-стилистического словаря русского языка

Вперемежку — вперемешку. На письме эти слова нередко смешиваются, употребляются одно вместо другого. Между тем в литературной речи они разграничиваются.

Наречие *вперемежку* — значит буквально «перемежаясь, чередуясь в каком-нибудь определенном порядке, попеременно» (ср. глагол *перемежаться*): *посеять саженцы вперемежку рядами; мужчины за столом сидели вперемежку с женщинами* (т. е. чередуясь).

Слово *вперемешку* употребляется в значении «беспорядочно, смешанно» (ср. глаголы *мешать, перемешивать*): *вперемешку лежали на столе разные предметы* и т. п.

С учетом этого различия и следует употреблять слова *вперемежку* и *вперемешку* в письменной речи.



„ ПОКАЯНИЕ ЗЕМЛЕ „

Этнолингвистическая заметка

Н. И. Толстой,
профессор Московского университета

Восьмая глава последней, предшествующей эпилогу, шестой части романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» содержит известный, глубокий по своему внутреннему содержанию эпизод раскаяния Раскольникова и попытки публичного покаяния. Приведем его с некоторыми сокращениями:

«Он вошел на Сенную. Ему неприятно, очень неприятно было сталкиваться с народом, но он шел именно туда, где виднелось больше народу. Он бы дал все на свете, чтоб остаться одному; но он сам чувствовал, что ни одной минуты не пробудет один. В толпе безобразничал один пьяный (...) Раскольников протиснулся сквозь толпу, несколько минут смотрел на пьяного и вдруг коротко и отрывисто захохотал. Через минуту он уже забыл о нем, даже не видал его, хотя и смотрел на него. Он отошел наконец, даже не помня, где он находится; но когда дошел до середины площади, с ним вдруг произошло одно движение, одно ощущение овладело им сразу, захватило его всего — с телом и мыслью.

Он вдруг вспомнил слова Сони: «Пойди на перекресток, поклонись народу, поцелуй землю, потому что ты и перед ней согрешил» [курсив наш.— Н. Т.], и скажи всему миру вслух: „Я убийца!“»

Он весь задрожал, припомнив это. И до того уже задавила его безвыходная тоска и тревога всего этого времени, но особенно последних часов, что он так и ринулся в возможность этого цельного, нового, полного ощущения. Каким-то припадком оно к нему вдруг подступило: загорелось в душе однею искрой и вдруг, как огонь, охватило всего. Все разом в нем размягчилось, и хлынули слезы. Как стоял, так и упал он на землю...

Он стал на колени среди площади, *поклонился до земли и поцеловал эту грязную землю* (курсив наш. — П. Т.), с наслаждением и счастьем. Он встал и поклонился в другой раз.

— Ишь нахлестался! — заметил подле него один парень.

Раздался смех.

— Это он в Иерусалим идет, братцы, с детьми, с родиною прощается, всему миру поклоняется, столичный город Санкт-Петербург и его грунт лобызает, — прибавил какой-то пьяненький из мещан.

— Парнишка еще молодой! — вернул третий (...)

Все эти отклики и разговоры сдержали Раскольниково, и слова „я убил“, может быть, готовившиеся слететь у него с языка, замерли в нем.

Поклон земле, лобызание земли и исповедь ей — весьма древний славянский дохристианский обычай, долго сохранявшийся на Руси и, как видно из приведенного отрывка, известный Ф. М. Достоевскому, который дал в художественной форме довольно точное его описание. На этот факт еще в начале нашего века обратил внимание профессор Московской духовной академии С. Смирнов, указавший на ряд верований аналогичного характера в русской и славянской народной традиции (Смирнов С. Древнерусский духовник/Издание Общества истории и древностей российских при Московском ун-те. М., 1913). Многие из них приводятся ниже; однако с тех пор появился и новый материал, посвященный культу земли, и общая система славянских народных взглядов на божественное начало и святость земли еще более прояснилась.

Земля — святая, земля — живая, земля — не только сама живет, но и дает жизнь роду человеческому. Земля — чистая, «пречистая». Земля — мать, «мать — сыра земля». Сербские крестьяне при обращении к ней называют ее Богоматерью («Земль Богомајко!»). Подобные представления фиксировались в прошлом и в России.

Таково кредо русского и славянского пахаря-труженика, идущее еще из поры языческой, от времен до крещения Руси и других славян, кредо, близкое к мифологическим воззрениям аптчаности, не разрушенное, а скорее консервированное и укрепленное народным, «бытовым» христианством. Его в наши дни можно

было бы назвать экологическим кредо, если бы это название не сужало его смысла.

Чистая, святая, рождающая, дающая жизнь людям, земля для славянского земледельца была носителем правды и справедливости, ей нельзя было солгать, от нее нельзя было ничего скрыть, и поэтому с ней был связан ряд обычаев, общественных, социальных и сугубо личных. К личным, можно сказать, интимным, обрядам относятся исповедь земле, целование земли, нередко сопровождающее покаяние, к общественным — клятва землей и установление пределов земельного владения, когда микросоциум полагается на совесть одного человека, обходящего свою или общинную, сельскую землю. Рассмотрим последовательно эти обряды, начиная от социальных, в которых культ земли выражен особенно ярко, и кончая индивидуальными, отраженными в приведенном отрывке из «Преступления и наказания» Ф. М. Достоевского.

В спорах о границе участков, принадлежащих разным лицам или общинам, тот, кто настаивал на определенной границе, должен был по ней пройти с дерном, то есть с куском земли и травы на голове, и тем самым установить правду. Показать, таким образом, ложную границу считалось большим преступлением и грехом, за который следовало суровое наказание и кара свыше (смерть близких, тяжкая болезнь). В некоторых русских деревнях, прежде всего на Русском Севере, в XIX веке такое обрядовое действие завершалось словами «С Богом! Бери, что обонем: так рассудила мать — сыра земля». Если же показавший границу своего владения лукавил и прихватывал чужой земли, в наказание «сама мать — родная земля прикроет его навски». Такого мнения придерживался и Иван Посошков, русский писатель начала XVIII века. Выступая против обряда пошения дерна на голове, который во многих местах стали сочетать с пошением икон, он писал, что «иные, забыв страх божий, взяв в руки святую икону, а на голову свою положив дернину, да отводят землю и в таковом отводе смертне грешат. И много и того случается, еже, отводя землю и неправедную между полагая, и умирали на меже» (Посошков И. Т. Книга о скудости и богатстве. М., 1842. С. 183).

Аналогичный обряд был известен у южных славян — у сербов, болгар и македонцев. Так, в центре Сербии, в Шумадине в области Гружа, несущий на голове дерн должен был произнести такие слова: «Клянусь матерью-землей, которая меня держит и кормит, что это — моя земля», а в Герцеговине при тех же обстоятельствах клялись иначе: «Бог пусть меня накажет, если я хочу запать чужую землю. Земля пусть меня не примет, когда я умру, и выбросит мои кости, и на этом свете пусть не кормит ни меня, ни моих

детей, ни детей моих детей. Пусть мой дом черным чертополохом зарастет и все, что мое, в неподвижный камень превратится!». В другой сербской области — Колубаре — указывающий на межу берет дерн, ставит на него хлеб с солью, обращается к востоку, крестится и клапается перед тем, как идти по обозначаемой им границе: «Клянусь этой землей, в которую я лягу, этим хлебом и солью, без которых я не могу ни жить, ни умереть, что правильно укажу, где граница», а совершив обход, снова крестится, целует дерн, хлеб-соль и снова говорит: «Клянусь хлебом и солью, без которых я не могу ни жить, ни умереть, что я правильно сказал, где граница».

Иногда при исполнении обряда межевания сербы берут землю (дерн) не только на голову, но и в руки, а в некоторых случаях взваливают мешок с землей на спину или вешают на шею. При этом в юго-западной Сербии (Сретечкая жупа) говорят: «Земля на твоей душе!». Там же считают, что клятвенно преступник перед смертью начинает есть землю, чтобы освободиться от грехов. На смысле этого мотива остановимся ниже, пока же отметим, что обряд ношения дерна на голове при обмежевании зафиксирован очень давно, в первых славянорусских памятниках XI века. В переводном с греческого тексте XIII слов Григория Богослова есть славянская вставка, отсутствующая в греческом оригинале. Она посвящена осуждению целого ряда языческих ритуалов, среди которых упоминается и интересующий нас ритуал: «А инь градъ четь; овъ же дрънь въскруць на главъ покладъ» присягу творить» (А иной град почитает; этот [другой] же, дерн выкопав, на голову положив, клятву произносит) — Будилович А. XIII слов Григория Богослова в древнеславянском переводе (СПб., 1875. С. 243).

Чтобы искупить свой или чужой грех ложного указания границы, или землю, то есть занимались геофагией. К приведенному выше примеру, зафиксированному в Сретечкой жупе, можно прибавить другой из Северной Сербии (зона Пожаревца). Там в 1924 году, после того как один крестьянин пронес землю (дерн) на голове и за ним по полю прошли сельские выборные, поверившие его ложной клятве, дочь этого крестьянина стала есть землю с обойденного (обмеренного) поля. Число примеров можно было бы умножить, но они, в общем, однотипны (см.: Барьяктаревич М. О земельных мсках у сербов. Белград. 1952; на сербск. языке).

Существенно, что эта же ритуальная геофагия была известна и русскому крестьянину. Оно он пользовался ею, не только заманивая грех ложного показания земельной границы, но и другого большого греха — заоя. Так, в начале нашего века студент Т. Н. Не-

чаев сообщил своему профессору С. Смирнову, что в Веневском уезде один крестьянин на исповеди говорил священнику: «Батюшка, положи какую хочешь епитимию, давал зарок не пить, *землю ел* [курсив наш.— Н. Т.], а потом прорвало» (Смирнов С. Древнерусский духовник. С. 274).

Еще один случай отмечен известным харьковским этнографом Н. Ф. Сумцовым: жена-чародейка поклялась мужу, что не имеет злого умысла, и в подтверждение своих слов съела ком земли. А саратовский краевед А. Н. Минх, наблюдавший в конце прошлого века за бытом и поверьями крестьян Нижнего Поволжья, свидетельствует, что «самая страшная клятва — съесть в подтверждение своих слов горсть земли». Клятва с геофагией известна и на Украине. В бывшем Луцком уезде было зафиксировано при клятве земель и поедание, и целование земли. Но землю целовал и Раскольников на Сенной площади!

Целование земли у славян известно в ряде обрядов, притом и в обрядах, не связанных с клятвой, покаянием и т. п. У сербов в Поморавье в сочельник (канун рождества), после того, как хозяин зажжет свечу в знак пачала ритуального ужина («вечери»), все домашние крестятся и трижды целуют землю, то есть земляной пол (район Лесковца). Или после того, как хозяин окурит и окадит трапезный стол и произнесет благопожелания урожая, здоровья, приплода в новом году, все присутствующие одновременно трижды целуют землю (в последнее время домашние уже только прикасаются рукой к земле). Затем следует «причастие» вином и разрезание или преломление рождественского пирога (район Алексинца). «Геры» — сербы из Баната в тот же вечер накануне ужина молятся, трижды кланяясь и касаясь рукой земли, но раньше они трижды крестились, становились на колени, касались тремя пальцами земли и при этом в третий раз целовали землю (свидетельства Д. Джорджевича, Д. Аптоциевича и М. Филиповича).

Основным стремлением, единственной внезапно возникшей целью Раскольникова, неожиданно оказавшегося на Сенной площади, было, однако, покаяние, исповедь земле. Он вспомнил, как ему сказала Соня: «Пойди на перекресток, поклонись народу, поцелуй землю (...) и скажи всему миру...». Между тем в славянской народной традиции исповедь земле обычно велась тайно, а не во всеулышание, всенародно. Такую исповедь отмечали у старообрядцев, прежде всего старообрядцев-беспоповцев, еще в начале нашего века. Отражена она и в русских духовных стихах. В одном из таких стихов собрания В. Варенцова содержатся следующие строки:

Уж как ка́елсе молодёць сырой землі:
«Гы покай, покай, Матушка — сыра земля!»

Есть на душе три тяжкие греха,
Да три тяжкие греха, три великие...

По особый интерес представляет опять же сербская параллель, зафиксированная в начале нашего века в юго-западной Герцеговине краеведом Т. А. Братичем, о сельской колдунье-ведьме: «Если в селе нет священника или по какой-либо другой причине она не ходит исповедоваться священному лицу, то она может исповедоваться земле или очагу и притом следующим образом. Вне дома на зеленой поверхности земли выкапывается маленькая ямка, и та, которая желает исповедоваться, нагбается над ямкой и говорит: „Исповедуюсь тебе, черная земля и зеленая трава, что я до сих пор была злая ведьма, и клянусь тебе, что я больше такой не буду. Боже, прости, прости, черная земля и зеленая трава!“. Это повторяется трижды, и затем ямка засыпается, а покаившаяся перестает быть ведьмой». Если же покайшие происходит у домашнего очага, то на нем разгребается пепел на том месте, где обычно печется хлеб, и туда три раза говорится: «Богу исповедуюсь, что была я злая ведьма, а если я буду ею и дальше, не видать мне лица божьего, но в вечном огне гореть!». После таких слов место засыпается горячим пеплом, и исповедь кончается. По свидетельству Т. А. Братича, герцеговинцы считают, что таким образом можно принести покайшие и в других грехах, и такая исповедь будет богоугодна и принимается как исповедь священнику.

С таким положением, однако, никак не соглашался представитель древнерусского высшего духовенства известный проповедник, писатель и изобретатель пермского алфавита епископ Стефан Пермский (1340—1395). Обличая заблуждения еретиков-стригольников, он писал: «Еще и такую ересь прилагаете, стригольники, — велите человеку земле каяться, а не попу. Господа не слышите говорящего: „Исповедайте грехи свои и молитесь друг за друга, да исцелете“. Для того же святые отцы установили духовных отцов (...) А кто исповедается земле, та исповедь не исповедь: ибо земля — бездушная тварь, не слышит, не умеет отвечать и не воспретит согрешающему. Бог потому не подаст прощения грехов исповедующемуся к земле» (см.: Русская историческая библиотека. Т. VI. Памятники древнерусского канонического права. Ч. I. СПб., 1880. Ст. 223—224).

Таким образом, исповедь земле — исповедь не церковная, не каноническая, она — народная, в каком-то отношении стихийная, отражающая веру в могучую духовную силу «матери — сырой земли». Что эта вера очень давняя, свидетельствуют не только русские памятники XI, XIV—XVI веков, цитаты из которых нами приведены, но и славянский, в том числе и русский, фольклор.

Летом 1906 года в Олонецкую губернию в Выговский край в фольклорно-этнографическую экспедицию поехал молодой Михаил Михайлович Пришвин. Сам Пришвин был из раскольникового рода, и Выга привлекала его своей старинной и духовным богатством. В деревне Корельский Остров на Выг-озере у слепой старушки Марии Петровны Пришвин записал сказку «Ослиные уши». Вот эта запись:

«Один царь держал слугу и все ездил с ним вместиах. У царя поросли ослиные уши, и он наказывал слуге строго: „Не говори ты никому, не выноси“. Слуга терпел, терпел и не мог больше выносить, вышел из терпения. Пошел он на улицу к дороге, где гуляют, возле дороги разгреб землю и припал к земле: „Есть, говорит, у царя ослиные уши, выросли, а не знать каких“. Затем выросло дерево над этим местом. Ну и поехал царь со слугой прогуливаться. А это дерево царю-то и кланяется: „Есть, гыть, у царя ослиные уши“. „Поставь, говорит царь, лошадей у березы-то“. Сам спрашивает: „Што березка, говорит, кланяется-то“. А вот кланяется, говорит: „Не говори, не выноси в люди, што есть ослиные уши у царя. Ну и я терпел, терпел да и не вытерпел, землю разгреб и шеннул, што у царя ослиные уши. А вот выросла березка, так объясняется“. — „Ну, говорит, уж если мать-земля не могла выдержать, то где же крещеному не сказать дружка дружке“ (Северные сказки. Сборник Н. Е. Ончукова. СПб., 1908).

Это единственный русский вариант широко известной в славянской фольклористике, главным образом по сборнику Вука Караджича, сказки «У царя Трояна козлиные уши». Изложим сюжет по Караджичу, хотя имеются и многочисленные другие сербскохорватские варианты, не говоря уже о вариантах иноязычных.

Царь Троян, чтобы не знали люди о его недостатке, прятал свои козлиные уши и каждый раз, когда ему пужно было стричься и бриться, убивал очередного брадоброя. Но одного из них, мальчика, царь пожалел. К тому же мальчик на вопрос царя, что он у него заметил, ответил, что не заметил ничего. Однако скрывать тайну царя мальчику было трудно, и ему посоветовали выйти в поле, вырыть в земле ямку, три раза сказать земле то, что он знает о царе Трояне, и яму вновь засыпать землей. Он так и сделал, а спустя некоторое время на месте его исповеди выросли три стебля бузины. Пастушонки сделали из одного стебля дудочку, которая запела: «У царя Трояна козлиные уши». Допла весть до царя. Тот хотел убить мальчика-брадоброя, но узнав от него, как все это произошло, понял, что на земле ничего нельзя скрыть, простил мальчика и разрешил каждому приходить и брить его.

Этот вариант интересен тем, что он повторяет некоторые де-

тали сербского ритуала покаяния колдуньи и ее исповеди земле: выкапывание ямки, трехкратное произнесение текста, закапывание ямки, наконец, душевное облегчение. В то же время следует отметить, что сюжет этой сказки — весьма древний, что он был известен в Европе Овидию и Петронию, а на Востоке — Низаму, Али-Деде и другим. Старейший зафиксированный текст принадлежит Овидию и связан с именем царя Миды, имевшего ослиные уши. Сюжет зафиксирован в народной традиции Кореи, Монголии, Тибета, Тайваня, Бирмы, Индии, Ирана, Ирака, арабских стран, Турции, Нигерии, Гапы и Эфиопии. В нашей стране он известен также тюркским народам, грузинам и армянам. В Европе его знают сербы, хорваты, болгары, македонцы, греки, албанцы, итальянцы, португальцы, французы, англичане, немцы и бельгийцы.

Однако деталь сюжета, касающаяся вырывания ямки, распространена только в античных латинских текстах, индийских, турецких, сербских, хорватских, болгарских, македонских и в приведенном русском тексте. В других традициях исповедь производится разным деревьям, дуплу дерева, колодцу, источнику, озеру, воде, болоту, песку. Есть разные варианты и с разглашением тайны и с другими деталями. Подробные наблюдения над разными метаморфозами этого сказочного сюжета произвела известная хорватская фольклористка Мая Бошкович-Стулли в книге «Народное предание о тайне властителя» (Загреб, 1969 — на хорватско-сербском языке). Сказки эти основаны на древнем бродячем сюжете, большинство которых, по мнению основателя фольклорной школы заимствования Т. Бенфея, постепенно распространились из Индии на запад в Европу и в другие страны.

Надо полагать, что и обряд исповеди земле не является только славянским. Однако вопрос его географического распространения — особая тема. Безусловно только одно: действия Раскольникова на Сенной площади, внушенные ему Соней, имеют историко-этнографическую основу, возникшую в глубокой древности.

Рисунок Н. Беланова

ЗА ЗНАКОМОЙ СТРОКОЙ

Наваринского дыма с пламенем...

А. Я. Опришко,
кандидат филологических наук,
Н. В. Котенко

К

то из нас не помнит знаменитый фрак Чичикова — брусничного цвета с искрой?

Помните подробно описываемый Гоголем туалет нашего героя? «...долго тер мылом обе щеки, подперши их изнутри языком; потом, взявши с плеча трактирного слуги полотенец, вытер им со всех сторон полное свое лицо, начав из-за ушей и фыркнув прежде раза два в самое лицо трактирного слуги. Потом надел перед зеркалом манишку, выщипнул вылезшие из носу два волоска и непосредственно за тем очутился во фраке брусничного цвета с искрой». Этот фрак «брусничного цвета с искрой» фигурирует часто в первом томе «Мертвых душ».

Во втором же томе появляется фрак *наваринского дыма с пламенем*. К фраку *наваринского дыма* автор обращается много раз. Более того, можно говорить, как считал В. Бодяновский, о целом повествовании о фраке наваринского дыма, включенном в текст «Мертвых душ» (Бодяновский В. Один из вещных символов у Гоголя. — Сборник ОРЯС АН СССР. Т. СІ. № 3. Л., 1928).

Запоминается сцена покупки Чичиковым сукна «наваринского дыма» во времена благополучия и успехов:

«Чичиков взошел в лавку.

...— Каких сукон пожелаете?

— С искрой оливковых или бутылочных, приближающихся, так сказать, к бруснике, — сказал Чичиков.

— ...Вот суконцо. — И, разверотивши его с другого конца, купец поднес Чичикову к самому носу, так что тот мог не только поглядеть рукой шелковистый лоск, но даже и понюхать.

— Хорошо, но все не то, — сказал Чичиков. — Ведь я служил на таможене, так мне высшего сорта, какое есть, и притом больше искрасна, не к бутылке, но к бруснике чтобы приближалось.

— Понимаю-с: вы истинно желаете такого цвета, какой попче в Петербурге в моду входит. Есть у меня сукно отличнейшего

свойства. Предупеждаю, что высокой цены, но и высокого достоинства.

...Штука упала. Развернул он ее с искусством прежних времен, даже на время позабыв, что он принадлежит уже к позднему поколению, и поднес к свету, даже вышедши из лавки, и там его показал, прищурясь к свету и сказавши: „Отличный цвет. Сукуно наваринского дыму с пламенем“.

В один из самых драматических моментов жизни, когда стало ясно, что «каша заварится», стоило портному принести только что сшитое платье, «Чичиков получил желание сильное посмотреть на самого себя в новом фраке наваринского пламени с дымом». Расплатившись с портным и оглидевшись, он остался чрезвычайно довольным обновкой: «...фрак наваринского дыма с пламенем, блистая, как шелк, давал тон всему. Поворотился направо — хорошо! Поворотился налево — еще лучше!»

В роковой момент крушения всех надежд также появляется фрак «наваринского дыма с пламенем»: «С сей же минуты будешь отведен в острог, и там, наряду с последними мерзавцами и разбойниками, ты должен ждать разрешения участи своей. И это милостиво еще, потому что ты хуже их в несколько раз: они в армяке и тулупе, а ты... — Он [князь] взглянул на фрак наваринского пламени с дымом...»

Чичиков «повалился в ноги князю, так, как был: во фраке наваринского пламени с дымом...» И наконец, последняя сцена падения героя: «— Ване сиятельство! не сойду с места, пока не получу милости,— говорил Чичиков, не выпуская сапог князя и проехавшись вместе с погой по полу во фраке наваринского пламени и дыма». Фрак наваринского дыма упоминается даже при описании тюрьмы, «промозглого, сырого чулапа», где оказался Павел Иванович. Копчается упоминание о фраке необыкновенного цвета нашего героя в следующей сцене: «И, не в силах будучи удержать порыва вновь подступившей к сердцу грусти, он громко зарыдал.., сорвал с себя атлас-



ный галстук и, схвативши рукою около воротника, разорвал на себе фрак наваринского пламени с дымом».

Как известно, Гоголь был большим мастером детали. Она содержательна, многопланова и многозначительна; требует своего раскрытия и осмысления.

Посмотрите, как угощает Чичикова Коробочка: «...на столе стояли уже грибки, пирожки, скородумки, шанишки, прыглы, блины, лепешки со всякими припеками: припекой с лучком, припекой с маком, припекой с творогом, припекой со спяточками, и невесть чего не было.— Пресный пирог с яйцом! — сказала хозяйка». Все эти угощения — главным образом мучные, дешевые... При всей видимой гостеприимности и щедрости скуповата хозяйка, прижимиста, для страшного ночного гостя бить птицу не пожелала, мясо дорого. Вспомните при этом обеда у других помещиков! Как же живописующа и многозначительна каждая подробность...

Большое внимание уделяется автором и внешности своих героев. Манилов встречает Чичикова на пороге дома одетый в зеленый шалоповый сюртук. Заметьте, что шалон — привозная французская материя, тонкое, недешевое сукно. У Собакевича — фрак совершенно медвежьего цвета, рукава длинные, панталоны длинные... А вот Ноздрев ездит по ярмаркам... в архалуке!

Что же это за цвет — *наваринского дыма с пламенем*? Из текста Гоголя не совсем ясно, какого же цвета было сукно наваринского дыма. Чичиков просит сукно с искрой оливковых или бутылочных топов, приближающихся к бруснике. Заглянув в Словарь В. И. Даля, узнаем, что бутылочный цвет — темпооливковый, а брусничный (брусьяный) — красный, багряный, цвета брусники.

Впрочем, установить цвет *наваринского дыма* не так уж трудно. Для этого достаточно обратиться к журналам мод и модным картинкам прошлого века. К одному из номеров журнала «Московский Телеграф» за 1828 год приложена «модная картинка-вклейка», представляющая последние парижские моды, с подписью: «Мущина. Пуховая шляпа. Фрак суконный, цвета Наваринского дыма, с стальными пуговицами». На раскрашенной акварельными красками картинке фрак изображен... красновато-коричневый!

Какое же отношение имеет к этому цвету его название — *наваринского дыма*? Для этого нам следует перенестись в двадцатые-тридцатые годы прошлого века. Законодатель мод, конечно же, Париж. Петербургские и московские журналы имеют там своих корреспондентов, ревностно следящих за малейшими изменениями моды в парижском свете. В разделах «Парижская мода» появляются заметки такого рода: «Замечен один щеголь в голубом с золотыми пуговицами фраке, у которого все швы и края обшиты былѣ

шелковыми шнурками»; «Важное известие для мужчин! Черные атласные галстуки в такой моде, как еще никогда не бывало»; «В первом представлении оперы „Дженни“ были щеголи в следующем костюме: фрак темный Балканский, жилеты из шелковой материи, цвета морской воды (бледно-зеленого), со струями серо-серебряного отлива...»

Мода менялась стремительно. Богатые бездельники должны были изо всех сил следить за ее причудами, чтобы не отстать от света. Дело фабрикантов — поставлять все новые и новые товары. Основных цветов спектра уже давно не хватало, приходилось изобретать названия для многих оттенков. В ходу были: цвет медвежьего ушка, цвет лани, цвет поджаренного хлеба, цвет «голова негра», зеленого дуга, попугайный, каштановый, лесных каштанов, пильской воды, везувийской лавы и т. д. Среди названий были самые удивительные и экзотические, например: цвет горлышка голубя, цвет утренней зари, цвет влюбленной жабы (!), цвет мечтательной блохи (!) и даже цвет бедра испуганной нимфы!

Как появлялись новые названия цветов, можно судить по следующему случаю. Журнал «Московский Телеграф» в 1829 году радовал своих читателей: «Самые новые платья, для утренних прогулок, делаются из жаконна цвета зеленого или красного Адрианопольского (как кстати: Русские герои только что заняли знаменитый Адрианополь! Французы угадали наше блестящее завоевание); по этому полю белые цветы, с черными стебельками. Подобного же происхождения и наше «темное» наименование.

Название цвета *наваринского дыма с пламенем* обязано своим появлением наименованию *Наваринская бухта*.

8 октября (по старому стилю) 1827 года в Наваринской бухте (на юго-западном побережье полуострова Пелопоннес) произошло сражение между соединенными эскадрами русского, английского и французского флотов, с одной стороны, и турецко-египетским флотом — с другой. Союзники одержали блестящую победу. В течение четырех часов вражеский флот был уничтожен. Разгром турецко-египетского флота содействовал национально-освободительной борьбе Греции и победе России в русско-турецкой войне 1828—1829 годов...

Уже в начале 1828 года появляются новые цвета, названия которых связаны с недавними кровавыми событиями. В отделе «Мода» журнала «Московский Телеграф» находим: «Некоторые дамы на прогулку... одеваются следующим образом: суконный амазон цвета Наваринского дыма...»; «Щеголи были... в суконных сюртуках цвета Наваринского дыма и казимировых панталонах цвета Наваринского пещла»; «Уборка почти всех атласных шляпок со-

стоит в двух больших и длинных плюмажах...; плюмажи поддерживаются розеткой из Наваринских лент»; «...дамские чулки телесного цвета с вышитыми на них птичками голубого Наваринского цвета»; «...шляпки, подбитые голубым Наваринским». Как видим, самые различные цвета обозначались словосочетаниями, в которых входило определение — *наваринский*.

События, представленные в поэме, видимо, относятся к 1831—1832 годам, перед самой ревизией 1833 года. Это подтверждают слова Чичикова: «А теперь же время удобное, недавно была эпидемия, народу вымерло, слава богу, немало». Речь идет, по-видимому, об эпидемии холеры 1830—1831 годов, охватившей всю Россию.

И вот здесь мы встречаем загадку! Дело в том, что в 1831—1832 годах цвет *наваринского дыма* уже вышел из моды. Как отмечают некоторые исследователи, с 1830 года постоянным цветом для фрака стал черный (см.: Белов С. В. Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Комментарий). Парижская мода в 1830 году и последующих еще предлагала фраки красноватого, синего, зеленого цветов. Но это была, по-видимому, мода для самых отчаянных модников. Любопытно одно упоминание о цвете фрака в гоголевской «Женитьбе», написанной, как известно, в 1833 году. Подколесин рассуждает наедине: «Я того мнения, что черный фрак как-то солиднее. Цветные больше идут секретарям, титулярным и прочей мелюзге, молокососно что-то». Подколесин — надворный советник, Чичиков, как известно, был коллежским советником. Они примерно равны по чину, но до чего разнятся их вкусы!

Как же можно объяснить появление фрака *наваринского дыма* в тексте романа-поэмы? Совершенно очевидно, что Павел Иванович был большим франтом. Но забота его о своей внешности, конечно, продиктована и «деловыми» соображениями: для успеха «дела» надо поправиться обществу. Уже на подходе, так сказать, к осуществлению мечты Павел Иванович мог позволить купить то, что было еще недавно недостижимо. Оделся он во фрак самого дорогого сукна, о котором только и можно было мечтать, — *наваринского дыма с пламенем*, но по моде... уже ушедшей. Вспомним, что в свое время недолго служил он на таможне, был уже близок к успеху, но, «потерпев по службе за правду» и увернувшись от уголовного суда, должен был податься в поверенные... Так что, купив себе сукна *наваринского дыма*, Павел Иванович, по-видимому, осуществил свою прежнюю мечту. Явно врал купец, говоря, что такой цвет «понеже в Петербурге в моду входит». А впрочем, кто знает, ведь мода до провинции доходила не скоро...

И еще на одну подробность следует обратить внимание. Гоголь как бы между прочим именуется цвет знаменитого фрака то *наваринского дыма с пламенем*, то *наваринского пламени с дымом*, как бы небрежно путая эти названия. «Мастерский прием, — писал по этому поводу В. Бодяновский, — передающий очень тонкий оттенок переливчатости цвета сукна». Возможно. Но нам представляется несомненным и другое. В этой «небрежности» великого сатирика сквозит язвительная ирония над стремлением к внешнему блеску.

Харьков

Рисунок Е. Бариновой

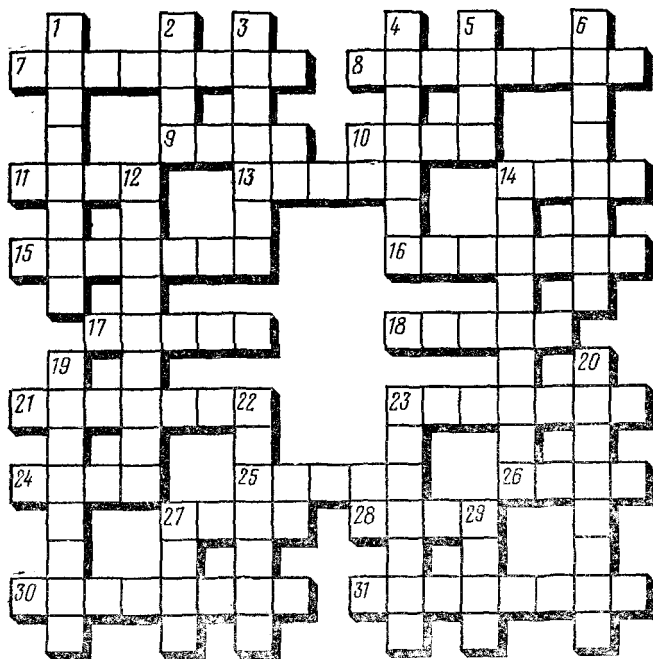
ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«Почему зимой в сводках погоды часто можно услышать такую фразу: „Днем ожидается гололед, на дорогах — гололедица“? Зачем об одном и том же явлении говорят дважды, да еще в одном предложении?»

М. Ю. Стражев, Таганрог

Дело в том, что в профессиональной речи метеорологов и синоптиков *гололед* и *гололедица* — отнюдь не одно и то же. *Гололед* — ледяная корка на деревьях, проводах и на поверхности земли. *Гололедица* — это только лед на поверхности земли (на дорогах), который образуется после оттепели или дождя при внезапном похолодании.

В общем же употреблении это синонимы, имеющие лишь некоторое стилистическое различие: *гололедица* — традиционная норма литературного языка, а *гололед* имеет разговорный оттенок.



КРОССВОРД

«М. А. Булгаков. МАСТЕР И МАРГАРИТА»

По вертикали: 1. Как называли Маргариту на балу у Воюнда? 2. Кисловатый напиток. 3. Кто изготовил удостоверение «на предмет представления милиции и супруге» соседу Маргариты и поставил свою подпись? 4. Что вылила Маргарита на кровать в спальне Латунского? 5. Кто заманил Иуду в Гефсиманский сад? 6. Каким словом называет поэт Бездомный Воюнда, подозревая, что гот является шпионом? 12. В каком учебном звании представился Воюнд Бездомному и Берлиозу? 14. Лицо, принадлежащее к постоянному населению данного государства. 19. Ветер, к которому обращался в песне коллектив «городского зрелищного

филиала». 20. Ассоциация, председателем которой был Берлиоз. 22. Жидкость для питья. 23. Слово, которым охарактеризовал Пилат упрямого Га-Поцри. 27. Кондитерское изделие. 29. Редкое женское имя.

По горизонтали: 7. Имя одного из спутников Воюнда. 8. Какое слово крикнула Маргарита по совету Азазелло, пролетая над воротами в переулок? 9. Что потерял знаменитый пес Тузбубен у таксомоторной стойки? 10. Полное имя женщины, пролившей подсолнечное масло. 11. Насекомое-паразит. 13. Слово благодарности, которое повторила Анишчка, возвращая Азазелло золотую подкову, поте-

рянную Маргаритой. 14. Возвышенности, с которых Мастер и Маргарита прощались с Москвой. 15. Род стрелкового оружия. 16. Древнегреческая богиня. 17. Один из основных героев романа. 18. Женщина, за которую заступилась перед Воландом Маргарита. 21. Водоем с вином, в котором купались гости на балу у Воланда. 23. Улица, спиной к которой сидели на Патриарших прудах поэт и редактор.

24. Удушливый ядовитый газ. 25. Шрам на шее Геллы. 26. Твердая корка на снегу после короткой оттепели. 27. Что более всего было ненавистно Мастеру в клинике? 28. Кто предал Иешуа? 30. Руководитель (им, в частности, был Римский, отвечавший за финансы в «Варьете»). 31. Город, направляясь в который автор слышал историю о случившемся в «Варьете».

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«У Достоевского мне встретилось слово *камея* (*брошь-камея*). Что это, брошь в виде цветка камей?»

И. Мирошник, Астрахань

Нет, вы спутали название растения *камелия* со словом *камея*. *Камея* — не цветок, а украшение — камень или раковина с рельефной художественной резьбой (от итальянского *самтео*). Камей вставлялись в оправу (броши, кольца). Такую брошь иногда тоже называют *камеей*.

«Каково значение слова *кворум*?»

Г. Т. Шилин, Винница

Кворум [*лат. quorum (praesentia sufficit) которых (присутствие достаточно)*] — установленное законом или уставом количество присутствующих на собрании или на заседании какого-либо органа, при котором их решения являются правомочными.

Уважаемые читатели!

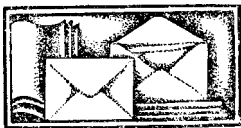
Публикуемыми ответами на ваши письма, к прискорбию, заканчиваются встречи с В. А. Никоновым (1904—1988) на страницах журнала «Русская речь», где около пятнадцати лет мы печатали отрывки из его «Словаря русских фамилий». Материал для Словаря Владимир Андреевич собирал многие годы, но так и не успел подготовить книгу к печати. Публикации в нашем журнале составляют лишь часть этого обширнейшего исследовательского труда.

В. А. Никонов никогда не знал отдыха, для него не существовало выходных, отпусков — смысл его жизни составляла ежедневная, кропотливая работа. На карте нашей Родины не было, наверное, места, куда бы не устремлялась его пытливая мысль в поисках ответов на свои и ваши вопросы. Его уникальная память была надежным источником многих ценных сведений для лингвиста, историка, географа, литературоведа. Полжизни он посвятил изучению сложных проблем ономастики — одного из очень интересных направлений в языкознании.

Откуда мы? Кто мы? На эти вопросы искал и находил ответы этот удивительный человек, встречи с которым вы, дорогие читатели, ждали всегда с большим интересом. Об этом говорят многочисленные письма, до сих пор поступающие в редакцию на имя Владимира Андреевича Никонова, который очень дорожил вниманием читателей и высоко ценил те сведения, которые многие из вас сообщали ему в своих письмах.

ОТВЕТЫ НА ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

В. А. Никонов



Белоярцев. (Спрашивает А. В. Белоярцев из Горьковской области.) Первоначально фамилия обозначала прибывшего из населенного пункта Белый яр. Но не исключена связь со словом *белоярый* — лучший сорт пшеницы, пшена, кукурузы на Севере, в Поволжье и Приуралье.

Будаев. (А. А. Будаев из Брянской области.) Вероятна связь фамилии с многочисленными старинными русскими предпринятыми

ми: *буда* — завод для производства поташа, дегтя, селитры, а *будай* — приписанный к ним рабочий, от него — притяжательное прилагательное *будасев*, которое закрепилось как фамилия.

Букэнин. (А. А. Букэнин из Калининской области.) Отчество от диалектного верхневолжского прозвища *букона* — «неразговорчивый, необщительный».

Булгаков. Е. В. Плотников из подмосковного города Жуковский спрашивает фамилии своих предков, предполагая, что они родом из Тамбова. Основа этой фамилии, широко распространенное слово *булга* — «шум, беспокойство, тревога, переполох, суматоха, ссора, скандал» (Словарь русских народных говоров).

Вахромеев. (М. Н. Вахромеев из Ставропольского края.) Основа — церковное имя *Варфоломей* из арамейского *Бар-Телеми*, принесенного к русским православной церковью из Византии. У других народов Европы оно принято в форме *Бартоломе*.

Воргин. (А. С. Воргин, Архангельская область.) По сообщению диалектолога Л. П. Комягиной из Архангельска, *ворга* — «охотничья тропа». Словарь русских народных говоров отмечает у этого слова 14 значений, первое из которых — «болотная местность».

Вьюниченко. (В. Е. Вьюниченко, Сочи.) Читатель знает, что его предки жили на Днепре. Основа фамилии — украинское слово *вьюнкий* — «юркий, бойкий», отсюда — *вьюнич*. Суффикс *-енк(о)* соответствует русскому *-енок*: *ребенок, гусенок*.

Гамзулин. (Н. А. Гамзулин, Калинин.) Вероятная основа фамилии — диалектное псковское слово *гамзуля* — «плохая хозяйка».

Голицын. (А. А. Голицын, Калужская область.) Одна из самых древних фамилий. Могла возникнуть из старинного слова *голицы* (*галицы*) — кожаные голые рукавицы для работ. Фамилия была боярской, затем распространенной дворянской. С отменой крепостного права, когда надо было присвоить фамилии миллионам крепостных, многие канцелярии записывали крестьянам одну фамилию — владельца. Так, в центральных областях, где Голицыны имели множество крепостных, эта фамилия получила широкое распространение.

Демихов. (А. Н. Демихов из Минска.) Основа фамилии — отчество от прозвища *Демих*, которое образовано от диалектного (новгородского и тверского) глагола *демить* — «лукавить, обманывать».

Дударенко. (И. С. Дударенко из Днепрпетровской области.) Автор письма спрашивает: «От музыкального инструмента или личного имени образована фамилия?» Дударенко — «сын дударя», *дударь* — музыкант, играющий на дуде, или дудке, свирели, волынке.

Комшилов. (А. М. Комшилов, Московская область.) По проис-

хождению это отчество от прозвища *Комшило*, производное от распространенного в русских диалектах (тверских, нижегородских, уральских) глагола *комшить* со значениями «бить, колотить, мять, комкать».

Ляков. (Н. А. Ляков из Кировской области.) Отчество от удмуртской формы *Ляко*, восходящей к церковному мужскому имени *Иаков* (Яков).

Мельгунов. (С. И. Мельгунов, Рязанская область.) Основа — диалектное *мельгун* — «подмигивающий, подмаргивающий».

Минакин. (А. А. Минакин, Ульяновская область.) В русских говорах Поволжья и Урала записан глагол *минать* — «мять», от него могли образоваться прозвища Минака, отчество от которого — *минакин* — стало фамилией (однако такое происхождение может считаться только предположительным).

Мултановский. (В. А. Мултановский из Харькова.) Как сообщает сам читатель, его предки — с Вятки. Там и возникла фамилия, означавшая жителя села Мултан.

Новомлинцев. (О. С. Новомлинцев из Воронежа.) Украинское слово *млин* — «мельница». С ним на Украине и в юго-западных областях РСФСР, включая Воронежскую, связаны названия многих населенных пунктов: Старый Млин, Новый Млин и под. Отсюда — *новомлинец*, то есть прибывший из селения с таким названием, а сын его — *Новомлинцев*.

Поздеев. (В. А. Поздеев из Челябинска.) Основа фамилии — отчество от нецерковного мужского имени *Поздей* — «поздний ребенок»; аналогична фамилия Поз(д)няков из *поздняк*.

Самошкин. (Н. Д. Самошкин, москвич.) Вероятная основа — упицкижительная форма *Самошка* (через ступень *Самоха*, *Самоша*) личного имени Самуил.

Сычев. (А. И. Сычев из Горьковской области.) Фамилия образована от прозвища по названию птицы *сыч* со значением «мрачный».

Федюнин. (Т. В. Федюнин, г. Оха, на Сахалине.) Читатель спрашивает, сохранилась ли его фамилия в документах переписей. Материалы прошлых переписей только в ничтожном меньшинстве уцелели в очень немногих архивах, а перечень упомянутых в них фамилий отсутствует. Основа фамилии — ласкательная форма *Федюня* из имени *Федор*, которое было у русских в прошлом очень частым.

Ходжаев. (Спрашивает Н. А. Ходжаев.) Отчество от иранско-персидского слова *ходжа*, которое означает то же самое, что и русское слово *хозяин*.

НАБРОСКИ

к портрету читателя



ПИСЬМА любят получать все. Любим и мы. Радует, что чуть ли не каждое второе письмо в редакцию «Русской речи» заканчивается словами «подписчик журнала с года издания» или короче — «ваш постоян-

ный читатель...» Не менее приятно прочесть строки, например, из письма Ю. В. Шпедта из города Бердска Новосибирской области (о себе он написал: слесарь, 36 лет): «К сожалению, только два года выписываю ваш журнал. Очень нужное издание!», или из письма карагандинца А. В. Яганцева: «По специальности я экономист. Моя семья выписывает много газет и журналов, специальной литературы — читаем все! И как жалеем, что только недавно стали получать ваш журнал. Для нас он был открытием! Мы нашли с женой в нем массу интересных вещей: здесь и история, и философия, и литература, искусство. Мне журнал помогает залатать (в определенной степени) „дыры“ в знаниях. Спасибо!»

Е. И. Евсеева из Ленинграда, М. И. Тищенко из Харькова и многие другие сообщают нам, что подшивки «Русской речи», хранящиеся у них в семьях, читает, как увлекательную познавательную литературу, уже второе поколение. Из башкирского села Учалы благодарит «Русскую речь» за помощь в работе корректор местной газеты Мунира Бажатовна Валеева...

Мы признательны и той части читателей, которые оказались обеспокоены уменьшившимся тиражом журнала в этом году. Трогательное письмо в этой связи пришло из Ленинграда, от нашей давнишней читательницы Н. И. Новожиловой: «Думаю, вся беда в том, — пишет она, — что журнал не все знают. Я сама его очень люблю и постоянно пропагандирую среди друзей и близких — к новому году всегда дарю подписку на него...». Огорчает и то обстоятельство, что, к сожалению, «Русскую речь» нельзя купить в киоске «Союзпечати» — в розницу журнал почти не поступает.

Любая редакция интересуется тем, кто и зачем читает ее издание. На редакционных летучках подчас мы спорим, каков наш

читатель, что ему нравится, и как примется тот или иной материал. И — может быть, в пылу спора — не сразу замечаем, что каждый читатель — жадный к знаниям и благодарный за них. Личность его — явление притягательное и часто неожиданное. Вот четвероклассник из Тулы Вадик Гуреев желает знать, как составляются деловые бумаги. А рядом письмо ленинградца В. Б. Шигорина, которого заботит качество современных словарей. Разные возраст, образование, профессии не мешают нашему читателю быть им. И мы, как всякий редакционный коллектив, любим его — любознательного, благодарного, педантичного, язвительного — любого. Потому что все наши муки творчества, поиски, находки — в конечном счете для него и ради него. Действительно, что мы без читателя, без его размышлений, откликов, вопросов?

Если бы пришлось набросать его сегодняшний портрет, что бы получилось?

Можно попробовать.

Больше всего, разумеется, пишет

Читатель спрашивающий

Вопросы, вопросы... Три четверти нашей почты — они: от деловых и серьезных до наивных и порой откровенно забавных: «Меня зовут Кристина. Мне уже двадцать лет, а я до сих пор не знаю, чье имя носу...» Но, в ладах наш читатель со стилистикой или не очень, мы приветствуем любознательность и стремление разрешить свои сомнения о языке. Иначе как бы пополнилась рубрика «Читатель спрашивает?» К чести читателя заметим, что постоянные ведущие этой рубрики, научные сотрудники Института русского языка АН СССР, не раз признавались, что им самим бывает весьма интересно докопаться до истоков какого-нибудь выражения или фразеологизма. Поистине узнавать новое никогда не поздно!

Есть спрашивающие читатели, с которыми мы встречаемся на протяжении многих лет, как с добрыми знакомыми, и рады, что смогли помочь ответами Ш. С. Сибгатулину, жителю поселка Загорянский Московской области, И. А. Долинскому из Одессы и многим другим. Но кто все-таки из приславших письма становится «спрашивающим» на страницах журнала?

Письма спорят.

«Я просто недоумеваю, зачем вы даете ответы, которые можно найти в словарях в любой библиотеке. Как будто больше нигде их искать, кроме как в „Русской речи“!» — это читатель Закиров из города Сосновоборска Красноярского края.

«Разве можно все решить одной подсказкой — „загляните в словарь?“ — парирует, размышляя над нашим материалом „Со-

циальное пространство публицистики“, учитель из Нарвы Г. И. Лупанов.— Словари иногда попадают старые, а жизнь идет вперед. Словарь — это не панацея. И новые слова цеплохо бы пояснить синонимами или просто объяснить подробнее...»

Мы стараемся учитывать по возможности все замечания и предложения, а это предполагает дифференцированный подход к почте. Кто-то прочтет ответ на страницах журнала. Кому-то ответим лично — ведь среди наших читателей есть люди, которым по возрасту и по здоровью бывает не под силу идти в библиотеку. Наконец, есть письма из деревень, сел, где, к сожалению, даже в библиотеке нужных словарей и справочников может не оказаться. А вот когда студент из Красноярска ждет от нас объяснения семидесяти (!) медицинских терминов — естествен будет наш совет раскрыть соответствующий словарь или учебник. Правда, такие письма редки. Однако случаются и другие, когда ответы, — особенно по грамматике — есть даже в школьных учебниках.

Отвечая же сосновоборцу Закирову, заметим, что в рубрике «Читатель спрашивает» журнал отвечает на самые разнообразные вопросы: и заковыристые, и простенькие. Думаем, таким и должен быть разговор с многоликим читателем. И пусть кто-то впервые прочтет именно здесь значение нового или, наоборот, устаревшего слова — может быть, это станет первым шагом человека к словарю. А скептик вдруг обнаружит то, чего он не знал, — и перестанет быть скептиком по отношению к знаниям других. Но как бы то ни было, спрашивающий читатель, по-видимому, будет у «Русской речи» всегда самым многочисленным.

Однако — будем справедливы — не одна только любознательность присуща авторам многих писем, которых можно назвать —

Читатель озабоченный

Чем же озабочен он? Страстно, непримиримо пишет о сохранении чистоты русского языка. Как правило, это люди старшего поколения, настороженно относящиеся к новым словам, особенно заимствованным из других языков.

П. С. Гончарова из Благовещенска очень беспокоит обилие в современном русском языке таких слов, как *проблема, ситуация*. Он даже написал: «Братцы, да о каком языке мы заботимся, на каком сами говорим и пишем — на русском или греко-латино-французском?!» Ему вторит В. Г. Федосов из Мурманска: «Варваризация русского языка не прекращается — она нарастает. У нас открытая дорога для „диверсантов“-англицизмов...»

Сотрудники Института русского языка АН СССР в журнале «Русская речь» не раз писали о словах иноязычного происхожде-

ния, перечисляя аргументы «за» и «против» заимствования как явления. Спор между противниками всякого заимствования и их оппонентами, менее пуристически настроенными русстами, — спор давний. При всем нашем уважении к читателям, высказывающим пуристическую точку зрения, должны заметить, что позиции крайнего максимализма в этом вопросе уязвимы. Конечно, можно понять запальчивость, например, В. Г. Федосова — приверженца, как он написал, «драконовых мер». Но задумаемся: возможно ли выбросить из языка множество заимствованных слов, давно вошедших в толковые словари русского языка и широко употребляющихся? Слово *проблема*, например, имеет синонимы *задача*, *вопрос*, *затруднение*. Но в нем как бы содержатся все три оттенка смысла: это и задача, и вопрос, и затруднение одновременно, такой вот сплав значений, словом — проблема! *Проблема* встречается у К. Г. Паустовского, у В. А. Солоухина, — а их не упрекнешь в отсутствии языкового чутья. Александр Александрович Фадеев в свое время сказал по поводу пререканий о тех или иных словах: «Не нужно спорить из-за отдельных словечек, можно их употреблять или нельзя. Ведь перед нами огромный океан... старого и нового, но при отборе из этого океана слов должно быть чувство меры...»

И вот как раз о «чувстве меры» ведет речь значительная часть читательских писем. Суть их сводится к тому, что язык центральной и местной прессы все больше засоряется речевыми штампами. «Все нынче у журналистов „звучит“: призывы, обращения, мысли; даже убеждения, оказывается, тоже могут „прозвучать“. Почему это прилипчивое, сказал бы я, слово, очень нравится газетчикам?» (П. С. Гончаров. Благовещенск). «Штампы не делают чести ни журналистам, ни литработникам, ни, тем более, писателям» (Н. Т. Болдырев. Новгород).

Как появились на свет нынешние словесные штампы? В большинстве случаев оттого, что журналисты хотели уйти от обычных слов и выражений к более образным, как бы «красивым», — чтобы разнообразить информацию, корреспонденции — жанры, отличающиеся краткостью и сухостью изложения. А повторенные многократно, эти поначалу действительно образные выражения убили... сам образ и перестали восприниматься. Кто из нас не наблюдал, как ежегодная уборка урожая становилась «битвой за хлеб», комбайнеры превращались в «тружеников полей», нефть — в «черное золото», хлопок — в «золото белое», металлурги именовались «людьми огненной профессии», а собрание доярок в областном центре — «форумом» или, на худой конец, «слетом». Речевой штамп — соблазн для неискушенного или равнодушного к языку человека: он

всегда на слуху, его — опять-таки стараниями прежних поколений неважных газетчиков — услужливо подсказывает память. И перебираются одни и те же затертые сравнения и метафоры из текста в текст в самых разных по уровню газетах.

Наверное, не слишком извинительны оправдания работников прессы постоянным цейтнотом, существующей спецификой газетной речи. Наверное, во все времена мерилом здесь будет степень талантливости пишущего. Из-за хрестоматийности примера даже как-то неудобно напоминать, что в газете начинали работать Булгаков, Катаев, Олеша, Паустовский — и на языке их произведений это никак не отразилось худшим образом. Что профессиональными журналистами были Эренбург, Симонов, Овечкин, а писали они интересно, ярко, без «красивостей».

Давайте отнесемся критически не только к газетной строке, но и к собственной устной речи — не засорена ли она лишними, прилипчивыми словами? Например, замечали, как часто случается вам говорить слово *нормально*?

«Вроде бы оно безобидно, но ведь совершенно пустое, ничего собой не несущее. А как вьелось в устную речь! Безликое, неприятное слово!» — мнение Г. Т. Иваненко из Сум. А Ленинградка Ю. С. Каплан даже стихи об этом написала:

Кто сделал ходким и когда
Впервые то словечко?
Оно как богу кочерга,
Оно как черту свечка.
Бгат и славен наш язык,
В нем мудрая основа.
Не обедняйте вану речь
Неподходящим словом.

«Коварная ниточка от безликого *нормально*, — замечает мопсажник Е. Сиротин из Серпухова, — уже у многих людей протянулась к жаргону, к пошлости. В ответ на традиционное „как дела?“ и теперь слышу от товарищей: „Нормалёк!“ Что это за слово? Имеет ли оно право на существование?»

Нет, запретить никакое слово нельзя, хотим мы, чтобы оно существовало, или нет. Дело в том, что каждому слову определено свое лексическое место. Даже многочисленные словари, несмотря на обилие стилистических помет, не могут вместить все реально существующие слова. Да это и ни к чему. Словарями определена литературная норма — на нее и ориентируется думающий человек. Немного потребуется при желании избавиться от ненужных слов — контроль над своей речью. Да еще важно — другого человека с тем

же недостатком остановить, необходимо поправить — может, и он задумается.

Есть, например, одна проблема, которая ну никак не решается, хотя всех волнует — обращение к незнакомым людям. Сейчас, как это ни прискорбно, какое обращение слышим кругом? Мужчина, женщина. Нехорошо это, позорно, пишем и говорим. Но слышали вы хоть раз, чтобы человека, так обратившегося, кто-нибудь рядом поправил? Я не слышала. «Как же мы изживем это ни в какие ворота не лезущее обращение, когда тут же, по горячим следам, не находится никого, кто бы остановил эту пошлость?» — резонно спрашивает и читательница А. А. Осадчая из Кишинева.

А внимание ленинградца И. С. Столяра и минчалия Т. В. Маникова привлекло частое употребление в устной речи предлога *по*.

«Сейчас почему-то не говорят, что, мол, построен тракторный завод, а непременно скажут — по производству или по изготовлению тракторов. Примеров много: это и силы „по поддержанию перемирия“, и „усилия по укреплению“, и „возможности по осуществлению“...». И. С. Столяр даже заголовок-каламбур для будущей статьи на эту тему в «Русской речи» придумал — «По поводу *по*». Предложение редакция приняла, и в будущем году вы прочтете материал кандидата филологических наук С. И. Виноградова о разных словесных конструкциях с предлогом *по*.

Немало упреков высказано печатному слову еще в нескольких письмах, написанных

Читателем дотошным

А. П. Кидасев, автослесарь СУ-4 треста «Спецстроймеханизация» из Мурманска пишет: «Я люблю русский язык и литературу, много читаю. И поэтому несколько пристрасно прочитываю газетные строки, где нахожу, увы, немало стилистических ошибок...»

Действительно — бывает.

Одни стилистические ошибки попадают на полосу из-за чьей-то невнимательности. О таких «ляпах» — это профессиональное слово журналистов для подобных случаев — и сказать-то нечего: можем только разделить негодование читателя или посмеяться вместе с ним над нелепостью вроде «прыжка с парашюта».

Но вот о стилистических ошибках другого рода, когда искажается смысл слова, — напишем и мы. А. С. Борисовец из Бреста, читая в областной газете репортаж о жатве хлебов, обратил внимание на такую фразу: «Ушел с поля последний комбайн. А на месте, где недавно колосилась полоска ржи, где после нее остались снопы, стали водить хороводы...» «Выходит, комбайны убрали колосающую рожь?» — написал читатель в редакцию. Конечно же,

автор репортажа имел в виду не колосющуюся рожь (колосится она за месяц до созревания), а колосистую — с крупным, спелым колосом. На этот раз чувство языка оказалось вернее у читателя.

Любопытно замечание С. Василенко из города Одинцово Московской области, по профессии электросварщика. Купив буклет «Отечественная война 1812 года», в одной из подписей к рисункам он увидел, что *гусарская ташка* превратилась в *шашку*. Можно было бы счесть это заурядной опечаткой, но, пишет С. Василенко, «4-томный словарь русского языка АН СССР, изданный в 1983–1986 годах, допускает ту же ошибку, заменив *ташку* на *шашку*, цитируя „Песню старого гусара“ Дениса Давыдова:

На затылке кивера,
Доломаны до колена,
Сабли, ташки у бедра,
И диваном — кипа сена.

Гусарская же *ташка*, по Словарю живого великорусского языка В. И. Даля, не имеет с *шашкой* ничего общего — это „кожаный карман на отлете, в роде украшения“. Действительно, странны были бы гусары, носящие с собой и сабли, и шашки. Бессмыслица! Между прочим, Станислав Василенко в поисках объяснений поработал со многими словарями, энциклопедиями и... неожиданно для себя увлекся старинными названиями деталей пушек. Похоже, вот так дотошный читатель, сначала лишь внимательно и скрупулезно читающий, постепенно переходит в разряд

Читателя-исследователя.

Это уже реальный претендент на авторство в «Почту „Русской речи“»

С некоторыми вы уже знакомы. В первом номере нынешнего года мы опубликовали письмо В. П. Лебедева и Е. Б. Куликова «Что привлекло нас во Владимире Высоцком?». Надо сказать, что публикации о В. Высоцком в том номере не остались незамеченными.

«Нельзя ли продолжить рассказ о творчестве Высоцкого? — спрашивает А. Белоречев из города Усолье-Сибирское Иркутской области и семья Быковых из Москвы. — В каком номере ждать новых материалов о нем?»

Однако не все читатели одобрили эту тему. «Я знаю многих людей разных возрастов и профессий, которые относятся к творчеству Высоцкого по-разному: от любви до ненависти, но ни разу ни от кого я не слышал похвального слова языку поэта. И ваша статья лишней раз показала, что языковые средства Высоцкого —

его слабое место, о чем, наверное, и следовало бы написать, не боясь диссонанса в многочисленном унисонном хоре статей и передач о Высоцком...» — это из письма врача из Москвы Ф. Ю. Мухарлямова. Он даже прибавил в заключение, что «не мог смолчать, когда любимый журнал изменил самому себе». Еще более резок и категоричен другой москвич, аспирант-медик С. В. Шараров: «Поэтом Высоцкий никогда не был, ибо все, что он изрекал, совершенно лишено художественного достоинства, а своими песенками он откровенно засорял русский язык...»

Печатаая статьи о языке стихов В. С. Высоцкого, мы меньше всего думали о том, чтобы занять место в «многоголосом унисонном хоре». От стихов Высоцкого (кстати, они в подавляющем большинстве не просто стихи, а — песни, и не просто песни, а — инсценировки, неотделимые от личности и мастерства автора-исполнителя, и об этом непростительно забывать и умалчивать) нам, живущим сейчас, не уйти, вне зависимости, правятся они или не правятся. И жаль, что два читателя восприняли эти материалы как очередные панегирики и сочли их данью «моде на Высоцкого». Но ведь восхвалений-то как раз и не было! Были беспристрастные текстологические разборы — профессиональный у известного литературного критика В. И. Новикова и попытка профессионального у любителей В. П. Лебедева и Е. Б. Куликова. А разве это не интересно? И разве творчество Высоцкого (думаем, что нет нужды полемизировать на тему «стихи его — стихи или не стихи?», как было, кстати, когда-то с поэзией Маяковского), не дает интереснейший материал текстологу, лексикологу, филологу? Л. Л. Вишников из Норильска в ответ на эти публикации прислал свои гипотезы происхождения некоторых строчек из «Баньки по-белому» — еще один читатель стал заинтересованным исследователем, занялся не только языком и литературой, стал исторические тома штудировать... Так изменила ли «Русская речь» себе?

Интересным показалось нам письмо москвича В. В. Войцова. Он прислал в редакцию материалы своего давнишнего товарища, архитектора А. А. Усачева, недавно ушедшего из жизни. По предположению его, буквы старославянского алфавита образовывали своими названиями (в переводе на современный язык) связный текст-поговорку. И хотя специалисты Института русского языка это не подтвердили, предположение оказалось неверным, работа, проделанная А. А. Усачевым, вызывает чувство уважения — человек перевернул гору справочной литературы, словарей, тщательно выверял все цитаты, выполнил работу аккуратно и четко.

А В. Г. Михайловскому из Иркутска мы не смогли отказать в эрудиции и не отметить его внимание к нашим публикациям.

Он прислал исчерпывающий материал об этимологии слова *фло-мастер* (если помните, в прошлом году мы дали объяснение происхождения этого слова со ссылкой на Словарь иностранных слов). Так вот — и на старуху бывает проруха — оно оказалось неверным, что читатели заметили. Статья В. Г. Михайловского, а он написал в редакцию одним из первых, будет напечатана.

Вот такой вышел портрет... Как любой набросок, он смог отразить только общие черты, дать лишь представление: о характере — нелегком, о душе — равнодушной, об отношении к языку — бережном и заботливом.

Мы сердечно благодарим И. П. Михайлову (Сочи), О. Ткачук (г. Узловая, Тульской области), П. Г. Калмыкова (Севастополь), С. Е. Ивонину (Сыктывкар), ученицу 9 класса Е. Каневу (с. Ловозеро, Мурманской области) и многих, многих других за теплые слова, за поддержку.

Спасибо всем, приславшим письма. И — по-прежнему ждем их.

Л. А. Макарова

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«Какого рода слово *шампунь*?»

Гая Иваненко, Киевская обл.

Слово *шампунь* пришло в русский язык из английского, где оно звучит *shampoo* (шампу). Однако это не было прямым заимствованием. Непосредственно слово *шампунь* пришло к нам из западных славянских языков (чешского или польского), где оно получило соответствующее звуковое и грамматическое оформление (например, чешское *šampón* принадлежит к мужскому роду). В русском языке *шампунь* также мужского рода. Неправильно, просторечно употребление его в женском роде: *хорошая шампунь*. Нужно сказать: *хороший шампунь* (Из книги З. Н. Люстровой, Л. И. Скворцова, В. Я. Дерягина «Беседы о русском слове», М., 1978).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

«М. А. БУЛГАКОВ.

МАСТЕР И МАРГАРИТА»

По вертикали: 1. Королева.
2. Квас. 3. Бегемот. 4. Чернила.
5. Низа. 6. Эмигрант. 12. Профессор.
14. Гражданин. 19. Баргузин.
20. Массолит. 22. Напиток. 23. Бевузец.
27. Кекс, 29. Анда.

По горизонтали: 7. Коровьев.
8. «Невидима!». 9. След. 10. Анна.
11. Клоп. 13. Мерси. 14. Горы.
15. Автомат. 16. Ариадна. 17. Иешуа.
18. Фрида. 21. Бассейн.
23. Бронная. 24. Угар. 25. Порез.
26. Наст. 27. Крик. 28. Иуда. 30. Директор.
31. Феодосия.

На вопросы читателей в этом номере отвечали: научный сотрудник Института русского языка АН СССР Т. В. Горячева, сотрудница Института русского языка им. А. С. Пушкина Т. И. Тагунова

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Н. С. ВАЛГИНА, И. Ф. ВОЛКОВ, В. П. ВОМПЕРСКИЙ, А. И. ГОРШКОВ, П. Н. ДЕНИСОВ, И. Г. ДОБРДОМОВ, Л. П. ЖУКОВСКАЯ, В. В. ИВАНОВ (главный редактор), Л. М. ЛЕОНОВ, И. Ф. ПРОТЧЕНКО (зам. главного редактора), Н. А. РЕВЕНСКАЯ (ответственный секретарь), Л. И. СКВОРЦОВ (зам. главного редактора), Ф. П. СОРОКОЛЕТОВ, Н. И. ТОЛСТОЙ

Заведующая редакцией

Т. С. Колмакова

Художественный редактор

Е. Н. Сапожникова

Корректоры

В. В. Беляев, М. В. Рыбина

Сдано в набор 18.06.88.

Подписано к печати 25.07.88.

Формат бумаги 84×108/32.

Печать высокая. Усл. печ. л. 8,4.

Усл. кр.-отт. 419,1 тыс. Уч.-изд.

л. 9,8. Бум. л. 2,5. Тираж 48700.

Заказ 1691.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука».
Адрес редакции. 121019 Москва, Г-19, Волхонка, 18/2. Телефон: 202-65-25
2-я типография изд-ва «Наука»,
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6